



АНДЖЕЙ
БОБКОВСКИЙ

Наброски
пером

Франция 1940–1944

Анджей Бобковский Наброски пером (Франция 1940–1944)

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68691984

Наброски пером (Франция 1940–1944): Издательство Ивана Лимбаха;

СПб; 2021

ISBN 978-5-89059-425-9

Аннотация

Дневник четырех военных лет, проведенных автором во Франции, стал одной из главных польских книг XX века. В нем Бобковский фиксировал развитие военных событий и в катастрофическом ключе диагностировал европейский кризис, обнаружив изрядную проницательность.

Анджей Бобковский (1913–1961) – писатель, публицист. В марте 1939 года вместе с женой уехал в Париж. Работал на оружейном заводе под Парижем и вместе с ним был эвакуирован на юг Франции. В 1940 году вернулся в Париж и продолжил работу на заводе. Во время немецкой оккупации принимал участие в движении Сопротивления. После войны был одним из важнейших сотрудников журнала «Культура», главного печатного органа польской эмиграции, способствовавшего переменам в Польше. Именно под эгидой «Культуры» и был опубликован его военный дневник. В 1948 году Бобковский уехал в Гватемалу

и открыл там магазин авиамоделей. Его перу принадлежат несколько книг, в том числе богатый эпистолярый.

Содержание

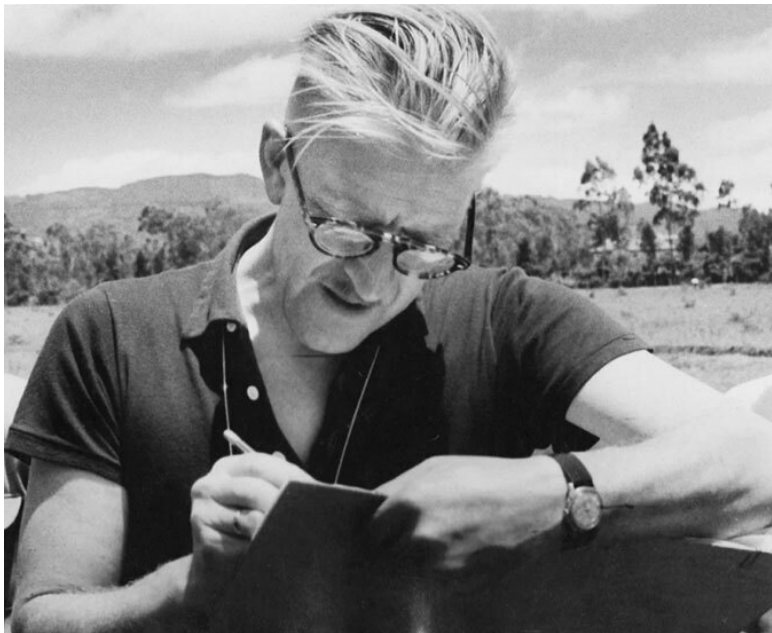
Мацей Урбановский	7
Автор	8
1940	35
Конец ознакомительного фрагмента.	139

Анджей Бобковский

Наброски пером

(Франция 1940–1944)

Andrzej Bobkowski
Szkice piórkem
(Francia 1940–1944)



© Fondation Jan Michalski, Montricher CH/Fundacja Jana Michalskiego, Montricher CH

Copyright © 1957 by Instytut Literacki Kultura

© Maciej Urbanowski, предисловие, 2021

© Józef Czapski, 1961

© И. В. Киселёва, перевод, 2021

© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2021

© Издательство Ивана Лимбаха, 2021

This publication has been supported by the © POLAND Translation Program

Издательство благодарит Литературный институт «КУЛЬТУРА» (Institut Littéraire «kultura») в Мезон-Лаффите за содействие настоящей публикации и фонд Яна Михальского за предоставление фотографии Анджея Бобковского

Перевод выполнен по изданию: Andrzej Bobkowski. Szkice piórkciem. Paryż: Instytut Literacki, 1957

Фото на обложке © Tore Yngve Johnson

Мацей Урбановский

Жить и молиться

О «Набросках пером»

Анджея Бобковского

«Наброски пером» – одна из важнейших книг в польской литературе. И в то же время это одно из самых интересных произведений о XX веке, точнее, о человеке, восставшем против подлости и глупости этого столетия.

К тому же «Наброски пером» – главная и единственная опубликованная при его жизни книга Анджея Бобковского, а еще это уникальный дневник, стоящий особняком в ряду выдающихся достижений польской диаристики. Замечательные дневники оставили Витольд Гомбрович, Леопольд Тырманд, Густав Герлинг-Грудзиньский, Мария Домбровская, Славомир Мрожек, а если речь идет о Второй мировой войне – это записи Зофьи Налковской, Кароля Людвика Кониньского¹ и Анджея Тшебиньского. На этом великолепном фоне «Наброски пером» предстают как произведение исключительное, сияющее особым и до сих пор не ослабевающим светом.

¹ Кароль Людвик Кониньский (1891–1943) – польский публицист, литературный критик, прозаик. *Здесь и далее примечания переводчика.*

Автор

Биография автора чрезвычайно интересна и в то же время символична для сложной истории польской интеллигенции второй половины XX века.

Анджей Бобковский родился 27 октября 1913 года в Винер-Нойштадте, находившемся тогда на территории Австро-Венгрии. Напомню, что у поляков в то время не было собственного государства, более ста лет назад его разделили между собой Россия, Пруссия и Австрия (впоследствии Австро-Венгрия).

Родители у него были особенные. Спустя годы он вспоминал с присущим ему чувством юмора: «Я был единственным ребенком, рожденным в самом невероятном браке утонченной, стильной, постоянно вращающейся в кругу писателей <...>, играющей, поющей – одним словом, орхидеи „из Вильно“ панны <Станиславы> Малиновской и солдафона австрийской армии (57-й Боснийский полк в Сараево), позже инструктора по фехтованию и профессора австрийского языка в Терезианской академии в Винер-Нойштадте». Еще Бобковский рассказывал о гимназических временах: когда он уезжал на каникулы, мать вручала ему медальон с Богородицей, отец – коробку презервативов.

Сестра католички Станиславы Бобковской была выдающейся актрисой, и в ее доме гостили знаменитые артисты.

Отец писателя Хенрик происходил из уважаемой семьи краковских протестантов: его сестра защитила диссертацию по философии в Ягеллонском университете, а брат в независимой Польше, то есть после 1918 года, стал вице-министром коммуникации. В свободной Польше сделал карьеру и отец Анджея Бобковского, ставший генералом и воевавший с большевистской Россией (был начальником штаба 2-й армии). Военная профессия главы рода Бобковских, вероятно, явилась причиной их постоянных переездов в 1920-е годы: из Вильно в Лиду, затем в Варшаву, Торунь, Модлин. Однако, в конце концов, Анджей Бобковский поселился в Кракове, где (не без проблем) учился в той же знаменитой гимназии Святой Анны, что и Юзеф Конрад Коженевский². Спустя тридцать лет автор «Ностромо» станет его любимым писателем.

Краковский период – начало интеллектуального взросления Бобковского. Ему не удалось избежать проблем поколения, родившегося в 1910-е годы, которое будет играть важную роль в польской культуре 1930-х годов. Голосами Чеслава Милоша, Казимежа Выки, Ежи Анджеевского и многих других это поколение выражает разочарование Польской республикой³, рисует картины падения Европы и требует от

² Джозеф Конрад (псевдоним Юзефа Теодора Конрада Коженевского, 1857–1924) – английский писатель, поляк по происхождению, получивший признание как классик английской литературы.

³ Польская республика (1918–1939), или II Речь Посполитая – государство, восстановленное в 1918 году.

современников духовной революции, ищет спасения в коммунизме, национализме и прежде всего в обновленном католицизме. Это поколение, которое назовет себя трагическим и бездомным. «Пьяные дети в тумане», – напишет Болеслав Мициньский⁴ о своих сверстниках.

Анджей Бобковский, вероятно, испытывал подобные страхи, хотя лично его экономический кризис не коснулся. Под влиянием любимого Оскара Уайльда он пытается походить на денди, читает модного Освальда Шпенглера, стихи катастрофистов⁵, переводит Андре Моруа и общается с членами Союза независимой социалистической молодежи. Именно тогда и начинаются его литературные приключения. Он публикует в газетах юморески, ведет дневник, фрагментами из которого делится с родными и друзьями. Обдумывает идею экспериментального романа, который, однако, ему не удастся написать.

После окончания гимназии в 1932 году Анджей Бобковский поступает в Высшую школу экономики в Варшаве, но гораздо более важным событием в его жизни становится женитьба в 1938 году на Барбаре Биртус из Кракова, выпускнице Школы изящных искусств, талантливым декораторе, которая спустя много лет станет еще и поэтессой. Отныне Барба-

⁴ Болеслав Мициньский (1911–1943) – литературный и театральный критик, эссеист, философ.

⁵ Течение, возникшее в польской поэзии в 1930-е годы (Ч. Милош, Ю. Чехович, К. Галчиньский).

ра будет верной спутницей Анджея и одной из героинь «Набросков пером». С ней он уедет из Польши в марте 1939 года. Это был спешный выезд в атмосфере скандала, причины которого до сих пор не выяснены. Молодые супруги прибывают в Париж, откуда намерены отправиться в Буэнос-Айрес, где Бобковский должен занять должность в представительстве «Польского экспорта железа» («PEZ»). Однако оформление документов затягивается, и в Париже их застаёт начало германо-польской войны. Когда Польша терпит поражение, Бобковский является на сборный пункт армии, которая формируется во Франции из числа польских беженцев. Его кандидатура отклоняется: причиной отказа являются семейные связи, а именно его дядя – вице-министр, связанный с лагерем Юзефа Пилсудского, который яростно борется против эмигрантского правительства генерала Владислава Сикорского.

В результате всю оккупацию Бобковский проводит в Париже. Он работает инженером на оружейной фабрике в Шатильоне. Когда в мае 1940 года начинается наступление вермахта, он вместе с фабрикой эвакуируется на юг Франции. В это время он начинает вести дневник, который в 1957 году опубликует под названием «Наброски пером». Его первые фрагменты будут напечатаны в 1945 году в эмигрантском журнале «Вместе, молодые друзья», а также в краковском журнале «Творчество». Это будет запоздалый литературный дебют 32-летнего Бобковского.

После окончания войны он работает книготорговцем, кладовщиком, ремонтирует велосипеды...

Бобковский участвует в работе парижского отделения 2-го корпуса Войска Польского, воевавшего во время Второй мировой войны в Северной Африке и на юге Европы, и в деятельности польского освободительного движения «Независимость и демократия», отвергавшего ялтинские договоренности, требовавшего полной независимости Польши и призывавшего эмиграцию к политическому реализму. Он является соучредителем «Трибуны», печатного органа движения, в котором эмиграцию предостерегают от «угрозы травм»⁶ в отношении Польши. С самого начала он был в курсе дел зарождавшегося журнала «Культура» Ежи Гедройца.

Как видно, Бобковский решает не возвращаться в Польшу, где остается его мать⁷. Жена «буржуазного» генерала при коммунистах живет в бедности и работает гардеробщицей в одном из краковских театров. Бобковский не питает иллюзий: он критикует польскую эмиграцию и отстраненно наблюдает за тем, что происходит в стране, управляемой все более жесткой рукой.

Тем не менее он сотрудничает с журналами, издаваемыми в Польше. Ни один из них не является рупором коммуни-

⁶ См. статью А. Бобковского «Угроза травм» в еженедельнике «Трибуна» (А. Bobkowski. Groźba urazów, „Trybuna“ (Paryż). 1946. № 7).

⁷ Отец Анджея Бобковского генерал Хенрик Бобковский умер 25 июня 1945 году в Кракове.

стической идеологии, а краковский «Tygodnik Powszechny» представляет собой не только католическое, но и явно оппозиционное новой власти издание. Бобковский публикует в нем очерки и репортажи. Однако многие из этих журналов быстро прекращают существование или подвергаются цензуре. Бобковскому остается эмигрантская пресса. Самым значимым станет для него ежемесячный журнал «Культура», издаваемый с 1947 года в Риме, а затем под руководством Ежи Гедройца в местечке Мезон-Лаффит под Парижем.

«Культура» была одним из главных журналов польской эмиграции после 1945 года. Его значение определялось, с одной стороны, оригинальностью представленной в журнале политической концепции, гласящей (вопреки мнению значительной части эмиграции), что условием обретения Польшей независимости и преодоления коммунизма являются примирение и соглашение с Украиной, Беларусью и Литвой, основанное на признании необратимости процесса территориальных изменений, которые произошли в результате Второй мировой войны, а затем совместная борьба за свободу.

С другой стороны, стоит отметить огромную работу литературного отдела «Культуры». В журнале печатались ведущие польские писатели, в том числе Милош, Гомбрович, Стенповский, Чапский, Герлинг-Грудзиньский и Бобковский. Уже в первом номере журнала было опубликовано его эссе «Некия», затем довольно регулярно печатались рассказы, очерки, рецензии и даже пьеса. Большинство текстов

собрано в сборнике «Коко де Оро» («Coco de Oro»), вышедшем в 1970 году.

Настоящая дружба связывала их с Гедройцем, который был на семь лет старше. Ее свидетельством является большое и очень интересное собрание писем, опубликованное в 1997 году. Для Бобковского «Культура» была «прекрасным рингом». Гедройц ценил сочинения автора «Набросков пером», он нравился ему как человек, их обоих связывало отрицательное отношение к коммунизму и национализму, своеобразный антиромантизм и космополитизм, умеренная религиозность и, пожалуй, прежде всего индивидуализм в сочетании с отрицанием подчиненного большинству мышления и мужеством высказывать непопулярные мнения.

Это мужество Бобковский проявил в 1948 году, когда решил покинуть Францию и уехать в Гватемалу. Это было, с одной стороны, осуществлением планов 1939 года, с другой – следствием весьма критической оценки современного Запада, который Бобковский окрестил «Европалагерем». Об этом он говорил в напечатанных в «Культуре» очерках, где обвинял Европу в трусости, слабости, покорности коммунизму и последовательном порабощении ее жителей. «Европа кажется ареной бродячего цирка, – писал он Гедройцу и добавлял: – В каком-то смысле Европа задыхается сегодня от собственного лицемерия, от своей неспособности признать определенные вещи».

В Гватемале Бобковский начинал практически с нуля, с

несколькими долларами в кармане, в «белой нищете», как он это называл. Жена работала оформителем магазинных витрин, и вскоре он сам открыл магазин моделей самолетов, что станет источником их существования и большим увлечением писателя. В качестве главы клуба моделистов он примет участие в соревнованиях в Европе и США, обзаведется большой группой преданных учеников. Однако начало было очень трудным: «В ноябре и декабре у меня была такая каторга, что я одурел от обработки дерева и чувствовал отвращение к самому себе. Ни письмо написать, ни прочесть что-нибудь, как скотина».

Несмотря на трудности, он продолжал писать для «Культуры». Его рассказы критики назовут «архиновеллами», а отклики из Гватемалы и комментарии по поводу «оттепели» 1956 года вызовут полемику (из-за бескомпромиссного антикоммунизма и резкой критики левых). Наибольшую известность получит эссе «Биография великого Космополяка». В нем Бобковский писал о Конраде, который стал для него образцом позитивной модели польскости, разумно сочетающей патриотизм с космополитизмом. Его длинные и многочисленные письма, написанные матери, Гедройцу и писателям в Польше и за рубежом, в то время были еще неизвестны. Они будут опубликованы после 1989 года и принесут ему звание одного из самых выдающихся польских эпистолографов.

При жизни Бобковского, кроме «Набросков пером», не

вышло ни одной книги. Он пробовал свои силы в драме, начал писать роман «Сумерки», но работу над ним прервал рак. Умер Анджей Бобковский 26 июня 1961 года. Ему было всего 48 лет. После смерти о нем заговорили как об авторе одного произведения, не реализовавшем свой талант. Сегодня на полке с книгами Бобковского есть упомянутые рассказы, пьесы, очерки, дневники и особенно многочисленные тома переписки. Однако это не меняет того факта, что центральное место на ней по-прежнему занимают «Наброски пером».

Вместо романа

Вот именно. Почему? В чем уникальность и, пожалуй, шедевральность «Набросков пером»?

Конечно, имеет значение их форма. Литературный XX век – это, с одной стороны, процесс постепенного разрушения классического романа, который хотел воздать должное видимому миру. Процесс этот окрестили обмороком романа или даже его смертью, но природа, в том числе литературная, не терпит пустоты, и место усопшего стали занимать жанры, которыми прежде пренебрегали, которые трактовались как маргинальные. Вместо романа, на стыке жанров, стали популярными разнообразные виды автобиографического письма, в том числе дневники.

Диаристике в XX веке способствовала история, спущен-

ная с цепи, по выражению Ежи Стемповского, дикая, жестокая и увлекательная. В связи с этим наиболее актуальной задачей литературы казалось не создание вымышленных стран, а фиксация того, что происходит вокруг, что было зачастую более удивительно, чем самый фантастический литературный вымысел, и тем самым трудно для понимания. «Пока мы обречены на прочтение самих себя», – отмечал Чеслав Милош в начале Второй мировой войны, что объясняло популярность дневников, и не только военных. Читать себя было в каком-то смысле легче, но, кроме того, это была попытка спасти собственное «я» от духа коллективизма, которым так сильно отмечен XX век. Дневник – яркое проявление индивидуальности, в его основе лежит убеждение, что «я» – уникальная ценность и источник уникального, достоверного знания о мире. Бобковский где-то напишет: «Я решил быть субъективным, крайне субъективным».

Но дело заключалось не только в самом факте ведения дневника, особенным было то, как Бобковский использовал эту форму и как он интерпретировал войну и себя как свидетеля, участника, жертву, а также – что самое удивительное – ее особого бенефициара. Бобковский переживал войну, как, наверное, никто в польской литературе и, пожалуй, мало кто в литературе мировой. «Мне стыдно, – пишет он 1 сентября 1941 года, – но, несмотря на все, что с нами до сих пор случилось, еще никогда в жизни я не чувствовал себя таким счастливым, как в эти годы, даже в эти два года войны. Еще

никогда в жизни я не чувствовал себя так хорошо».

«Сочная жизнь поглощает меня»

Я все время думаю о Второй мировой войне, увиденной со специфического наблюдательного пункта, которым была оккупированная немцами Франция. Точнее: речь идет о 1940–1944 годах, времени действия дневника Бобковско-го. Первая запись в «Набросках пером» датируется 20 мая 1940 года. «Тихо и жарко. Париж опустел и продолжает пустеть каждый день», – отмечает Бобковский, а вскоре после этого пишет о продвижении немецких войск вглубь Франции. Последняя запись сделана 25 августа 1944 года. История, кажется, замкнулась. «В городе тишина», – начинается этот фрагмент Бобковский. Столкновения с немцами в Париже прекратились. Мы видим пейзаж после исторической бури. Париж свободен, в нем уже американские войска. Бобковский слышит, как «над счастливым городом плывет один большой крик радости». Он смотрит на ликующую толпу и начинает плакать. На удивленный вопрос американской девушки он отвечает: «Я поляк и думаю о Варшаве. Они могут быть счастливыми, нам пока нельзя».

Очень характерная сцена. Здесь важно дистанцирование Бобковского от разворачивающейся у него на глазах истории и от окружающей его толпы. Можно говорить об особом эффекте отчуждения, характерном для его дневника. Автор –

поляк во Франции, который живет как бы на границе двух народов, он иностранец, даже аутсайдер. Благодаря этому его взгляд на французские и польские дела приобретает особую остроту и пронизательность. Однако дистанция не исключает участия. «Наброски пером» – одна из самых страстных книг в польской литературе. Она полна гнева, сарказма, бунта, но еще и нежности, смеха, плача и, наконец, восторга и счастья. Того счастья, о котором Бобковский говорит в приведенной ранее фразе и которое составляло для него суть жизни.

Этот специфический взгляд формируется у героя дневника в мае 1940 года, когда он вместе с работниками фабрики, где он работает инженером, получает приказ об эвакуации из Парижа. Эвакуация превратится в велосипедное путешествие по Франции, которое, в свою очередь, затянется на (шутка сказать!) три месяца, превратившись в отпускную прогулку, упоительное бродяжничество, туристическое приключение, но вместе с тем станет путешествием внутрь себя, ностальгическим прощанием с молодостью и в то же время – бегством от мысленных догм.

Это ключевая и самая известная часть дневника Бобковского. Сильнее всего, наиболее ярко и наглядно проявляется в ней специфическая позиция главного героя. Гражданский человек, индивидуалист, враг интеллекта, циник, ценитель жизни и, наконец, эвдемонист⁸, исповедующий прин-

⁸ Эвдемонизм – философское направление в этике, считающее целью жизни

цип *grimum vivere*⁹. Гротескный ужас происходящей где-то рядом войны только обостряет его аппетит к жизни и усиливает его восхищение красотой мира.

Это, впрочем, характерно для всего дневника: Бобковский испытывает почти религиозное восхищение существованием и наслаждается красотой повседневного, конкретно-го и обыденного. Он пишет: «Жить и молиться. Я все больше молюсь за стаканом пива или рюмкой рома, потому что именно в эти моменты я действительно чувствую, что все еще жив. И благодарю». Или: «Когда Бога любят больше, если не в те моменты, когда человек чувствует себя его творением? Тем наиболее успешным созданием природы, эволюция которого безгранична и у которого еще столько всего впереди, чтобы стать Человеком. В эти короткие мгновения я молюсь не мыслями, не словами, а всем своим существом. Я чувствую жизнь».

Бобковский пишет эти слова в 1943 году, а значит, в самый разгар жестокой, убийственной войны! Он яростный враг абсолютизма и приверженец свободы. Как противник рационализма, критик сухого интеллектуализма, картезианскому *cogito ergo sum*¹⁰ он заявляет: «Я чувствую, следовательно, существую». И добавляет: «Меня поглощает жизнь, эта великолепная, сочная жизнь, этот Париж военного вре-

стремление человека к счастью.

⁹ Прежде всего – жизнь (*лат.*).

¹⁰ Мыслю, следовательно, существую (*лат.*).

мени, каждый день».

Герой «Набросков пером» учит себя и тем самым учит нас быть свободным в мире, ненавидящем свободу и красоту. Он хочет жить по-настоящему даже во времена оккупации, хотя жизнь – он это осознаёт – в оккупированном Париже отличается от жизни в оккупированных Варшаве, Кракове, Киве или Смоленске. Но сама суть порабощения насильем и пропагандой схожа. Воля Бобковского к жизни – это *liberum veto*¹¹, брошенное войне, которая, руководствуясь идеей ницшеанской воли к власти и заставляющей индивида подчиняться интересам коллектива, жертвовать ради него личным счастьем, достоинством, свободой и даже жизнью.

Таким военизированным состоянием ума, идеологией термитника являются для Бобковского гитлеризм, коммунизм и любой тоталитаризм. Он противопоставляет им своеобразный витализм и персонализм, анархическое принятие человека из плоти и крови, провозглашает его «не только прикладную» ценность, что, впрочем, является, по его христианскому убеждению, вкладом в западную культуру. Он точно замечает: «Человек – это вечный пожар, вечный сюрприз, его нельзя загнать в систему».

В то же время автор «Набросков пером» все больше осознает, что его мир исчезает. Что умирает не только Франция,

¹¹ Свободное вето (*лат.*) – с XVI до конца XVIII века в Польском сейме право свободного протеста, в силу которого один возражающий член сейма мог сделать недействительным постановление сейма.

которую он полюбил, но вся культура, основанная на эллинском, римском и христианском наследии уходит в прошлое. На смену им приходит тоталитаризм, для которого «нет ничего неприкосновенного, а ты, как человек, в зависимости от своих способностей, уже не Тадеуш, а всего лишь лопата, кирка, отвертка, напильник и так далее. <...> Возвращается холод языческого мира, языческое „восхваление государства“, из которого по тем или иным причинам изгоняются Эйнштейн, Манны и Верфели, как изгонялся когда-то Анаксагор».

Таким образом, Бобковский считал войну кульминацией современности, которая, по его точному замечанию, является «единственным великим и всеобщим отрицанием человека». Поэтому чем ближе к концу, тем больше в «Набросках пером» гнева и пессимизма.

«Франция была верой»

Бобковский был одним из последних страстных любителей Франции в традиционно франкофильской польской литературе. Он обожал братьев Гонкур, Бальзака, Флобера, любил картины импрессионистов, особенно Сезанна, восхищался французским кино и театром. Этим объясняется страсть, с которой на страницах «Набросков...» он пытается осуществить своеобразную феноменологию французского духа, постоянно колеблясь между восхищением и негодо-

ванием. Его восхищает, например, то, что у французов «феноменально развито чувство жизни, которого нам так трудно достичь без идеала и без иллюзий». Ему нравится французский баланс, он пишет, что «жизнь здесь <была> легче и проще, человек был прежде всего человеком». Но его возмущает то, как французы уступают немцам, он презирает петеновскую политику сотрудничества с Гитлером. «Я вырос на мифе Франции, – пишет он. – А сейчас что? Расползается по швам – причем тихо, вкривь и вкось, без треска». Или: «Война для народа как бросание монеты о мраморную плитку¹²; хотя я ненавижу войну, мне кажется, трудно найти лучшее испытание. Я вспоминаю, что думал о Франции долгие годы. Сегодня мне понятно одно: качества, которые умиляют и высоко ценятся в мирное время, которые, эти французские качества губительны во время войны». Бобковский великолепно описывает механизм бархатной оккупации, тонкого порабощения французов немцами.

В «Набросках пером» Бобковский немало места посвятил национальной характерологии, вдохновившись работами Германа фон Кайзерлинга. Интересно, что Бобковский, откровенный индивидуалист, часто рассматривал другого человека как представителя национального «типа». Отсюда переход к критическим и близким к ним сентенциям, обычно блестящим, порой шокирующим обобщениям. «Немцы, – пишет он, – гениальный народ, они все предвидят, все под-

¹² Старинный способ проверки подлинности серебряной монеты.

считывают, придираются к мелочам, только в их предвидениях всегда чего-то не хватает. Чаще всего ерунды, и из-за этого все разваливается, идет прахом».

О своих соотечественниках он отзывался еще более неоднзначно. Он был чрезвычайно суров по отношению к полякам, даже жесток к ним в своей критике, и в то же время восторгался Шопеном, зачитывался Сенкевичем и Прусом. Его возмущал романтический мессианизм, но, узнав об обнаружении могил польских офицеров, убитых НКВД в Катыни, он написал: «Я теперь меньше удивляюсь Мицкевичу и Словацкому, их мистицизму и такой нудоте, как „Книги паломничества“ вместе с Товяньским». Довоенную Польшу он подверг сокрушительной критике. К примеру: «Литература, искусство, музыка были оторваны от повседневной жизни, они были бегством, неестественной разлукой, удушьем, польским снобизмом, абсолютно особенным и совершенно неприятным». И добавил: «Не будем заблуждаться – нас не любят; нас не любят за это претенциозное хамство. Попробовав раз в жизни шампанское, мы ведем себя так, будто пьем его каждый день за обедом. Между тем люди пили обычное пиво, да и то по воскресеньям, потому что бутылка стоила 90 грошей». Однако он объяснял свою позицию: «Это не из-за презрения к Польше – это из-за гнева на нашу судьбу, на наше невезение, из зависти, когда смотришь на других, которые зачастую менее достойны». А в метком афоризме предупреждал: «Всякое поражение таит в себе одну большую

опасность: в поисках ошибок легко переступить границу, за которой этот поиск становится обычной подлостью и оплевыванием самого себя».

Наброски пером?

У Бобковского было несколько идей для названия дневника. В письме к родителям он писал об «орхидеях в томатном соусе», в шутку указывая на разношерстность своих записей. Это можно заметить хотя бы по множеству поднятых тем. Несколько из них я уже упомянул. Но перечислить их все здесь невозможно. Например, любовная тема, потому что «Наброски пером» – прекрасная, тонкая история о супружеской любви. А тема юмора и связанная с этим стихия комизма? Она появляется прежде всего вместе с персонажем Тадзио, компаньоном по велосипедной эскапде Бобковского. Варшавский таксист, ровесник автора «Набросков...» представляет собой невероятно комический образ. Тадзио напоминает Жака-фаталиста, утенка Дональда Дака, а также Пятницу и вносит в его приключения немало юмора и здравого смысла, как, например, в такой сцене: «Вечер, белый от звезд и играющий сверчками, выпала роса. Мы сидели и разговаривали, и в конце концов все до единого согласились с Тадзио, что „французы – олухи и минетчики“».

А тема финансов? Не зря автор был выпускником Варшавской школы экономики. Блестяще анализируя роль де-

нег во время войны, их влияние на национальный характер французов и поляков, он утверждал, что «нельзя быть человеком ниже определенной свободной суммы в кармане».

А кино или театральные сюжеты в «Набросках...»? А воспоминания о юности? А мысли о межвоенном периоде в Польше? А его многочисленные великолепные и обширные комментарии о прочитанном? А гастрономическая тема? Ведь описания еды и питья занимают важную и заметную часть «Набросков пером»!

Вот откуда орхидеи в томатном соусе, вкус которых определяет неординарная личность «кулинара» Бобковского.

Он рассматривал другие названия, например, «Douce France», то есть милая Франция, как в популярной песне Шарля Трене¹³. В свою очередь, «Война и покой» вызывала ассоциации с шедевром Толстого, возможно несколько полемические, поскольку Бобковский не любил этот роман, а «покой» (наряду с тишиной) – для него одно из важнейших «жизненных чувств».

Окончательное заглавие подчеркивает не только композиционную и интеллектуальную эскизность дневника Бобковского, но также свободу и легкость, с которой он был написан. Успех этой книги связан и с ее художественным мастерством. Ему автор учился у своих любимых реалистов XIX века. Как и они, он был адептом конкретики и деталей. Он мог построить удивительно оригинальное и точное обобщение.

¹³ Шарль Трене (1913–2001) – популярный французский певец и композитор.

ние на материале наблюдения повседневных ситуаций. Или, говоря иначе, в основе его выводов (политических, философских, историософских, религиозных) чаще всего – повседневная жизнь, уличная сцена, анекдот, подслушанный разговор, фрагмент прочитанной газеты.

Повседневная жизнь раскрыла в Бобковском замечательного фотографа, который тщательно фиксирует внешний вид оккупированного Парижа, обращает внимание на ремонт улиц, на витрины, на тогдашнее меню, на репертуар театров и кинотеатров, даже – редкая вещь для мужчины – на изменения в женской моде.

Автор «Набросков...» чрезвычайно чувствителен к физической, видимой стороне мира. «Мне нравится мысль, в которой было бы что-то от запаха зелени на рассвете, в которой были бы прожилки, полные горячей крови», – признается он, и такая мысль с прожилками горячей крови ставит под угрозу идеологические абстракции. Несколькими мазками, как художник, он запечатлевает в дневнике картины военной Франции. Таково, например, описание осеннего дня 1943 года, пожалуй, худшего года войны: «День бледно-солнечный, теплый. Я шел по длинной аллее между заросшими прудами. Все было золотисто-желтого цвета. Маленькие листочки тополей сыпались с деревьев, мерцая на солнце, как цехины¹⁴. На легком ветру шелестел желтеющий и сохнувший на кончиках аир и тростник. Через отверстия в умирающей

¹⁴ Цехин – золотая монета.

зелени виднелись обрывки бледно-голубого неба, покрытого серебряной дымкой».

Писательское кредо Бобковского гласило: «Настоящий писатель – не тот, кто хорошо пишет, а тот, кто больше всего замечает».

Разбойничья книга

Как я уже упоминал, Бобковский начал публиковать фрагменты своих военных записей сразу после окончания войны одновременно в эмиграционной и отечественной прессе. Эти отрывки привлекли внимание Гедройца и выдающегося поэта Ярослава Ивашкевича. Ободренный их комплиментами, Бобковский попытался напечатать дневник в Польше. Издательство «Читательник» даже подписало с ним контракт осенью 1948 года и выплатило гонорар матери писателя. Однако книгу не выпустило. В январе 1950 года рукопись была возвращена Станиславе Бобковской. Мы не знаем точно, что послужило причиной такого решения, хотя кажется очевидным, что и содержание «Набросков пером», и личность их автора, сотрудника «фашистской» «Культуры», были тогда абсолютно неприемлемы для коммунистов. В 1950 году в Польше на книжных прилавках господствовали совсем другие книги, в их названиях были трактора, уголь, стройки и сталелитейные заводы.

В конце концов «Наброски пером» в двух томах были

опубликованы в 1957 году Литературным институтом в Париже. Бобковскому было уже 44 года, он давно жил в Гватемале. Дневник вызвал почти безоговорочное восхищение критиков. О нем с одобрением отзывались в эмиграции и в Польше, хотя рецензии Пшибося¹⁵ и Херца¹⁶ были изъяты цензурой. Бобковского похвалил «сам» Гомбрович.

Первое отечественное издание «Набросков пером» появилось лишь в 1988 году, да и то в самиздате. Через семь лет вышло первое официальное издание. Дневник стал одним из самых значимых текстов для поколения военного положения, для которого «Наброски пером» со вписанными в них жестами свободы и независимости стали культовой книгой. Всенародную карьеру «Набросков...» усилило прекрасное эссе Романа Зиманда¹⁷, прочитанное во время знаменитой сессии по «запрещенной литературе» в 1981 году. Отличные рецензии написали Кшиштоф Дыбцяк, Ян Зелиньский, Кшиштоф Цвиклиньский, Анджей Хорубала, Мацей Новак и многие другие.

Однако у «Набросков пером» были и скептические читатели. Они ставили под сомнение прежде всего подлинность записей Бобковского, особенно в тех случаях, когда автор го-

¹⁵ Юлиан Пшибось (1901–1970) – польский поэт, эссеист, переводчик и публицист, дипломат.

¹⁶ Павел Херц (1918–2001) – писатель, поэт, переводчик и издатель, одна из ключевых фигур польской культуры XX века.

¹⁷ Роман Зиманд (1926–1992) – польский литературный критик, историк литературы, публицист.

ворит о военных событиях, предугадывая не раз с удивительной точностью их развитие. Некоторые критики утверждали, что это результат последующих исправлений, с чем категорически не соглашался автор. Сравнение дневника 1957 года с фрагментами, опубликованными сразу после Второй мировой войны, показало только, что Бобковский тщательно оттачивал стиль и композицию своих записей. Лишь недавно Лукаш Миколаевский сопоставил рукописи «Набросков пером», хранящиеся в Нью-Йорке, с печатным вариантом. Оказалось, что между ними есть серьезные отличия. Бобковский скомпоновал военные записи таким образом, что они стали похожи на автобиографию или, по мнению других, своеобразный роман. Что не менее интересно, в версии 1957 года автор «Набросков...» конкретизировал свое отношение к коммунизму, а также значительно смягчил антиамериканские акценты и, наконец, полностью удалил критические замечания в адрес евреев.

Этот вопрос стал предметом интересной полемики, которая, вероятно, не скоро закончится. Имеем ли мы дело с двумя разными текстами или с вариантами? И какие «Наброски пером» «подлиннее» и «лучше»? Как воспринимать переделки Бобковского? Как свидетельство тщательной работы над текстом в результате политической эволюции писателя или как конформизм и подчинение духу времени?

Возможно, через некоторое время мы будем иметь дело с ситуацией, аналогичной истории с дневником Леопольда

Тырманда 1954 года, то есть с двумя версиями одной и той же книги, показывающими Бобковского в разные моменты его биографии. Но и тогда, мне кажется, «Наброски...» останутся литературным шедевром.

Бобковский и Россия

«Наброски пером» уже переведены на французский, немецкий и украинский языки, а в 2018 году в США вышел перевод на английский. Интересно, что в переводах дневник Бобковского часто имеет другое название, например, в Америке он издавался как «Wartime Notebooks»¹⁸, а на Украине – как «Війна і спокій»¹⁹.

Русский перевод – пятый по счету, подтверждает растущее значение этой книги. Для русского читателя, вероятно, особенно интересными и даже шокирующими будут отрывки, посвященные России и ее культуре. Они, как правило, критичны, ведь Бобковский в юмористической биографии, написанной незадолго до смерти, признавался, что он был «либеральным реакционером реалистичного антиинтеллектуального оттенка с сильными акцентами антикоммунизма и зоологической ненависти к России, привитой ему отцом».

Это особенно заметно в «Набросках...». Бобковский повторяет свое признание: «Я ненавидел Россию с детства, все-

¹⁸ «Дневники военного времени» (англ.).

¹⁹ «Война и мир» (укр.).

ми фибрами, как и отец, который до такой степени ее не переносил, что и в Варшаве ему пахло Россией». Более того, он добавляет: «Я никогда не стану спорить о материальном богатстве России, но считаю, что духовных достижений у нее мало, если они вообще есть». То же касается резких оценок Льва Толстого (его знаменитое «я не могу» как реакция на «Войну и мир»²⁰), Николая Бердяева и Федора Достоевского. В русских он видит «мастеров бесчувствия, рациональных преступлений и математическо-абстрактных душевных комплексов, возникающих под влиянием не чувства, а мысли». В то же время его беспокоит тяга его любимой Франции к России, которую он объясняет «классовой симпатией» или – в случае с Советами – «духовной нитью хамства». Бобковский опасается последствий польско-советского пакта 1941 года, который он сравнивает с соглашением, заключенным между кроликом и коброй. «Россия, – утверждает он, – как всегда, не хочет той Польши и такой Польши, какой она сама хотела быть». Чтение «Нового Средневековья»²¹, в свою очередь, побуждает его высказаться об общей для всех славян, а значит, и для русских, и для поляков, «мутной» философии, которой, привержены Мицкевич и Достоевский.

Антироссийский комплекс следует рассматривать частично в контексте тогдашней эпохи, антикоммунизма, галиций-

²⁰ См. записи в «Набросках...», сделанные 10 апреля 1942 года.

²¹ Имеется в виду книга Н. Бердяева «Новое Средневековье. Размышления о судьбе России» (1924).

ских корней и семейного опыта Бобковского, частично же в контексте чтения им во время войны известной книги Астольфа де Кюстина о России и, наконец, в «хулиганском», то есть скандальном, аспекте, столь характерном для дневника и всего творчества писателя.

Как бы то ни было, критичное отношение Бобковского к России уникально в польской литературе, особенно в кругу близкой ему «Культуры». Гедройц, Чапский и Герлинг-Грудзинский относились к России гораздо более дружелюбно, они обожали русскую литературу и – что, может быть, самое главное – отделяли большевизм от России. Для Бобковского большевики – это русские и *vice versa*²². В 1958 году он спорил с Гедройцем о «Братьях Карамазовых». Для Бобковского это была – за исключением «Легенды о Великом инквизиторе» – «полная чушь, театральная, болтливая, неряшливая, воняющая дегтем и христианизированной спермой», для Гедройца – «великая книга».

Также стоит отметить, что автор «Набросков пером» критически относится ко всем нациям, в том числе и к полякам. Однако, когда Бобковский встречает конкретного человека, например русскую старушку-эмигрантку, эмоции у него совсем другие. Если же речь идет о русских писателях, то некоторые из них смогли избежать его осуждения. К примеру, Дмитрий Мережковский, по книгам которого Бобковский знакомился с европейским искусством и о смерти ко-

²² Наоборот (*лат.*).

того он с сожалением написал в дневнике. Сравнивая, в свою очередь, остроумие и сатиру при нацистском и коммунистическом режимах, он ссылается на Михаила Зощенко. Хочу добавить, что автор «Набросков пером» высоко ценил «Доктора Живаго» Бориса Пастернака и защищал русского писателя от нападок коммунистов в эссе «Великий Аквизитор»²³.

Все вышесказанное – дополнительный повод прочитать этот текст по-русски. Для меня, впервые прочитавшего военные записи Бобковского в 1986 году, они были увлекательной и невероятно актуальной книгой. Мне кажется, они актуальны и сегодня.

²³ От *лат.* *acquisitor* – приобретатель; в современном значении агент.

1940

20.5.1940

Тихо и жарко. Париж опустел и продолжает пустеть каждый день, но происходит это как будто тайком. Люди уезжают по-тихому, до последнего убеждая знакомых, что «мы никуда не едем». Однако все чаще заметны на улицах автомобили с тяжелым багажом на крыше, устремленные на юг. Замечать их не положено. Неуверенность и тайна опустились на город. Проходя по улице, я все время ловил себя на мысли, что самые обычные проявления повседневной жизни кажутся мне таинственными. Как-то странно ездили машины, тише и быстрее, на станциях метро люди ждали не только поезда, а чего-то еще. В воздухе повисли вранье и недосказанность.

А сегодня утром эта пустота под ложечкой, которую испытывали все, исчезла. Вейган²⁴ назначен верховным командующим после отставки Гамелена²⁵, Петен²⁶ в правительстве.

²⁴ Максим Вейган (1867–1965) – с 19 мая 1940 года начальник штаба национальной обороны, Верховный главнокомандующий Французскими вооруженными силами. В июне 1940 года участвовал в подготовке и подписании условий капитуляции Франции.

²⁵ Морис Гюстав Гамелен (1872–1958) – с 3 сентября 1939 года главнокоман-

Вейган сразу принял командование и уехал на фронт. Естественно, пошли слухи об измене: вроде как Гамелен покончил жизнь самоубийством, есть доказательства, что... и так далее. Люди верят в Вейгана, верят, что он все исправит. А пока первый этап битвы французы проиграли вчистую.

Немцы уже в Аррасе и Амьене, пробуют окружить бельгийскую армию.

21.5.1940

Сегодня в Сенате Рейно²⁷ сказал правду, точнее, часть правды. Оказалось, что армия генерала Корапа²⁸, защищающая линию в Арденнах на участке Мезьер—Седан, была слабо укомплектована, дивизии плохо вооружены (в ноябре прошлого года я видел, как они расхаживали по городу в тапочках), и мосты на реке Маас взорваны не были. Про-

дующий союзными войсками во Франции. 19 мая 1940 года заменен М. Вейганом. В сентябре 1940 года арестован правительством А. Петена и в 1942 году осужден в Риоме как один из виновников поражения Франции.

²⁶ Анри Филипп Петен (1856–1951) – французский государственный деятель, с июня 1940 по август 1944 года глава правительства (до апреля 1942 года глава правительства коллаборационистского режима Виши).

²⁷ Поль Рейно (1878–1966) – французский политик, премьер-министр в мае и июне 1940 года, отказывался поддерживать перемирие с Германией, ушел в отставку 16 июня 1940 года.

²⁸ Андре Жорж Корап (1878–1966) – французский военный деятель. 19 мая 1940 года отстранен от командования армией и назначен командующим войсками 7-го военного округа, 1 июля 1940 года отправлен в отставку.

сто ужас. Самый сильный удар немцы нанесли, естественно, на этом направлении, поскольку точно знали ситуацию еще до того, как о ней было доложено месье Рейно. Зато как дань традиции всеобщее воодушевление этим безобразием. Французы ругаются, злословят, а потом приходят к выводу, что «сейчас мы им покажем» и *Weygand va montrer*²⁹. Что покажет? Чудо на Висле?³⁰

Общая подавленность закончилась скандалом, сменой кабинета, и все будто очнулись от страшного сна. Я смотрел на них сегодня утром, и мне казалось, что все стали воплощением «Марсельезы». Девиз дня – продержаться, вечное французское, но уже порядком изъеденное молью – *tenir*³¹.

22.5.1940

С 10 мая погода не меняется. Солнце и жара. Во Францию стекаются тысячи беженцев из Бельгии и северных провинций. Их направляют на юг. Французы отбили Аррас. В городе нормальное настроение. Стрельба противоздушной артиллерии стала обыденным развлечением. Немцы еще не на-

²⁹ Вейган покажет (*фр.*). Курсивом в тексте выделены слова, написанные Бобковским на других языках.

³⁰ Имеется в виду Варшавская битва (13–15 августа 1920) – одно из самых значимых сражений Советско-польской войны (1919–1921), в результате которого Польша остановила наступление Красной армии и сохранила независимость.

³¹ Держаться (*фр.*).

чали бомбить Париж, но прилетают довольно часто. И тогда начинается канонада, то есть показуха. Между выстрелами доносится гул самолета. Мы просыпаемся и опять засыпаем. Интересно, когда они наконец возьмутся за Париж.

23.5.1940

Французы стремятся любой ценой образовать единую линию фронта. К сожалению, немцы просочились через какую-то брешь и грозят занять Булонь. Абвиль уже взяли. Бельгийская, английская и французская армии еще не полностью окружены, но из того, что пишут, следует, что они не сумели установить связь. Вместе они составляют так называемую Армию Фландрии. Немцы каждый день атакуют в разных местах, не обращая внимания на огромные – как пишут в газетах – потери.

24.5.1940

Ничего нового. Французы не смогли ликвидировать брешь между Аррасом и Соммой, и немцы перебрасывают туда моторизованные части, под Булонью и Кале идут острые бои. *Eintopfgericht*³², солянка, из которой немцы выбирают самое вкусное, то есть используют новую тактику, вода за

³² Густой суп (нем.).

нос противника. Погода все время стоит чудесная.

25.5.1940

Суббота. Бася³³ приехала за мной на «Порт-д'Орлеан». Пошли в кино. Парижская полиция устраивает массовые облавы, все – даже коренные французы – должны иметь при себе удостоверения личности. В префектуре я ни с кем не могу договориться – слишком поздно... Полицейские вооружены карабинами, но, когда я сегодня повнимательнее рассмотрел сие оружие, меня так и подмывало спросить: а патроны, случайно, не из Дома инвалидов? Похоже, вытащили последнюю модель 1870 года, служившую, скорее всего, для обороны Парижа, чтобы сейчас стрелять по парашютистам.

26.5.1940

В вечерних газетах появилась краткая, но весьма красноречивая заметка. Пятнадцать генералов отстранены от командования. Продолжение скандала по принципу «рыба гниет с головы». Назначены семь новых. Армия Фландрии уже, собственно говоря, отрезана. Сейчас она представляет собой полукруг, концы которого расположены, с одной сто-

³³ Барбара Бобковская, в девичестве Биртус (1913–1982) – художница, жена А. Бобковского.

роны, на севере от Дюнкерка, а с другой – на севере от Кале. Ряд рубежей находится у рек Лис и Эско. Армию снабжают вроде бы с воздуха. Немцы оттесняют их к воде.

28.5.1940

Еще лучше. Сегодня рано утром сдался Леопольд Бельгийский, а с ним 18 дивизий. Эта новость сразила всех наповал. Похоже на явную и очевидную измену. Он сдался, не предупредив ни французов, ни англичан, обнажив таким образом их тылы. Что дальше? Это смертный приговор Армии Фландрии.

29.5.1940

После обеда я уехал с фабрики с Жаном на его «форде». Вчера сдался Леопольд, 18 дивизий к чертям собачьим, все рушится, а мы оформляем *cartes d'identité de travailleur étrange*³⁴ польским рабочим государственной оборонной фабрики. Хладнокровия чиновникам не занимать. Подписи директора, справки не помогают – целые партии рабочих нужно возить с фабрики, расположенной в десяти километрах от Парижа, отрывать их на полдня от работы, так как они «обязаны присутствовать лично». Подпись, постав-

³⁴ Удостоверения личности работающих иностранцев (*фр.*).

ленная не в префектуре, недействительна, и думать забудьте.

Так ничего и не оформив, мы зашли к Дюпону выпить пива. Жарко и душно. Внутри все красное и серебряное. После пива у Жана начался приступ бешенства. Мы сели в машину и рванули на полной скорости вперед. Бедный «форд» крихтел, полицейские свистели на перекрестках бульваров, а мы мчались. Уже за Парижем выехали на чудесную дорогу, деревья вдоль которой полностью покрыты бледно-лиловыми цветами. Я закурил сигарету и открыл окно. Откинулся на спинку сиденья и прищурил глаза. Как будто упал в цветочный сугроб. Через окно доносился запах, дул ветерок. Не знаю, о чем я думал. Какие-то воспоминания давних вёсен, тишины смешались с грустью, какую ощущаешь на железнодорожном вокзале, когда провожаешь очень дорогого тебе человека. Жуткий внутренний сквозняк, от которого перехватывает дух.

Мы свернули на дорогу в поле, не снижая скорости. «Форд» прыгал и крикал. Вчера прошел небольшой дождь, и на дороге было много луж. Брызги летели в стороны и на лобовое стекло. Дорога вела вниз, к лесу. На обочине маленький ресторанчик с террасой. Жан остановился перед ним и сказал: «Здесь я играл в оркестре. Я был скрипачом, но иногда и на банджо играл – этим и зарабатывал». Он задумался. Мне казалось, что он чувствует то же, что и я. Может, он приехал попрощаться со своими воспоминаниями? Мы зашли выпить пива. Хозяйка встретила Жана как сына. Я взял

стакан с пивом и, сев на окно, стал смотреть в сторону леса. Они вспоминали прежние времена. До меня долетали отдельные слова: *fleurs, Suzanne, mignonne*³⁵. Горло сдавило, и я не мог проглотить ни глотка пива.

От леса уже веяло вечерней прохладой, запахом мокрой зелени и сгнивших листьев; лучи солнца, пробиваясь сквозь высокие деревья, преломлялись в старых бутылках из-под шампанского, аккуратно сложенных пирамидой у ограды. Пиво я вылил в бочку с дождевой водой. Жан попрощался с хозяйкой, и мы молча сели в машину. Потом стали гонять по лесным дорогам. Нас подбрасывало, трясло, пока мы не начали смеяться – глупо и истерично хохотать.

30.5.1940

Что делают итальянцы?.. Еще этого не хватало.

31.5.1940

Армию Фландрии на кораблях эвакуируют в Англию. Часть уже спасли. Бельгийская мощь осталась в прошлом. Говорят, что голландцы и бельгийцы, договорившись с немцами, вытащили французов и англичан с укрепленных позиций, благодаря чему немцам удалось навязать самую выгод-

³⁵ Цветы, Сюзанна, милашка (*фр.*).

ную для них тактику. В любом случае немцы ведут себя как на маневрах, по всем правилам искусства.

1.6.1940

Как обычно по субботам, Бася приехала за мной на «Порт-д'Орлеан». Мы пошли пешком в Люксембург³⁶. Был чудный, теплый вечер. Мы сели в железные кресла у пруда и стали читать. В саду пусто, а пруд без детских парусников мертвый и грустный. Из газет следует одно: неиссякаемые запасы мужества солдат и командиров, пытающихся исправить ошибки недальновидных политиков и так называемых государственных деятелей, на исходе. Точность немецких операций поражает. Как в аптеке.

Рванный разговор, мысли понятные, но недосказанные. Поражение. Из состояния грустного оцепенения нас вывел звук трубы. Где-то в глубине сада сторож играл веселую мелодию. Предупреждал посетителей о закрытии парка. Темнело, и зелень была черной. Мимо нас на велосипеде проехал другой сторож и крикнул: «*On ferme*»³⁷.

«Пойдем – Францию закрывают», – сказал я. Мы побрели к выходу. На улице д'Ассас зашли в небольшой ресторанчик. Белое ледяное вино.

³⁶ Люксембургский сад – парк в Латинском квартале Парижа.

³⁷ Закрываем (*фр.*).

3.6.1940

Утром в Министерстве труда на улице Вожирар. Перед входом газон и деревья. По газону расхаживают двое полицейских, наклоняются, выпрямляются, снова наклоняются. Хотя у меня нет времени, я, заинтригованный, останавливаюсь. В конце концов подхожу к ним и спрашиваю, не потеряли ли они что-нибудь.

– *Mais oui, Monsieur*³⁸, мы ищем четырехлистный клевер. Дать вам такой? – Один из них, произнеся это, с милой улыбкой протягивает мне прекрасный образец. Я беру и прячу его в записной книжке. И тоже улыбаюсь. Людовик XVI в день взятия Бастилии написал в своем дневнике: *Rien*³⁹.

Пообедал на фабрике. Потом пошел в свою комнату работать. Ужесточение полицейских предписаний прибавило мне работенки. Примерно в четверть второго в городе началась воздушная тревога. На фабрике сирены не было, и я остался сидеть за столом. Спустя несколько минут начала безумствовать противовоздушная артиллерия. Сплошной грохот. И вдруг пронзительный свист – доли секунды тишина – и удар. Потом еще ближе – то же самое. Бомбы. Люди стали быстро спускаться на первый этаж. Все ждали следующего налета. Фабричная сирена по-прежнему молчала. Я спокой-

³⁸ Да-да, месье (фр.).

³⁹ Ничего (фр.).

но сидел у себя с хладнокровным видом, хотя боялся жутко. Говорят, настоящая храбрость в этом и состоит. После полчаса стрельбы все затихло. В начале третьего объявили отбой воздушной тревоги. В районе «Порт-де-Версаль» горели дома. Я тут же отправился в Министерство труда. На одной из улиц в Шатильоне повывлетали стекла из окон почти во всех домах. Люди собирались группками и разговаривали. Я спросил, не упали ли бомбы где-то поблизости. Мне сказали, да. А через минуту меня арестовали двое полицейских из-за того, что я задавал подозрительные вопросы. Меня отвезли в комиссариат. После проверки документов и моих объяснений отпустили. Рядом с комиссариатом разбомбили целый трехэтажный дом. Около «Порт-де-Версаль» горел дом. Война...

Из вечерних газет следует, что бомбили везде по чуть-чуть и в Париже появились первые жертвы.

4.6.1940

Было сброшено 1084 бомбы, 900 жертв, 250 убитых – остальные ранены. Для начала достаточно.

Французские и английские моряки совершили чудо. Вывезли из Дюнкерка всю Армию Фландрии – примерно 330 тысяч солдат. При непрекращающихся атаках немцев со всех сторон. Спасали только людей. Вооружение двадцати дивизий осталось на пляже. Это, наверное, одно из самых героиче-

ческих поражений. Они начинают составлять нам конкуренцию.

А так все по-старому. Погода чудесная, даже жарко. Кухня для беженцев на улице Ламанде, где работает Бася, скорее всего, на днях свернется. Что будет со мной, не знаю.

5.6.1940

С 10 мая немцы держат мажорную ноту. Причем на одном дыхании. Только вчера они расправились с Армией Фландрии, а уже сегодня в четыре утра начали наступление по всей линии фронта от моря до Суассона. Пока неизвестно, продвинулись ли они (и где) вперед, но я бы не удивился, если бы завтра они вошли в Компьень, а дней через пять в Париж.

Адская жара. В нашей мансарде как в печке. После ужина мы пошли в «Кардинал» на бульварах, там не так душно. Я пил ром, запивая его содовой со льдом. На бульварах пусто и темно. Я посмотрел на Басю и, смеясь, сказал: «Ну, нагада!».

И правда, не знаю как, но год назад, еще до начала войны, она уже знала и постоянно отвечала на мои восторги по поводу Франции, что, когда нападут немцы, страна рассыплется, как карточный домик. Я не верил. Я вырос на мифе Франции. А сейчас что? Расползается по швам – причем тихо, вкривь и вкось, без треска.

6.6.1940

Жара. Какая погода, просто жалко, что приходится одновременно думать обо всех этих делах. На Сомме, в Эсне битва. Немцы бросили в атаку 2000 танков. Французы на побережье сдают позиции.

7.6.1940

Немцы все время наступают, в основном на левом фланге. Они у реки Брель. Это уже просто издевательство над трупом. На фабрике об эвакуации еще не говорят, но, думаю, ждать недолго.

В Париже спокойно, никаких признаков волнения. Иногда только мелькнет на улице машина, груженная чемоданами, с матрацами на крыше. Люди уезжают кто как может. Я просто кожей чувствую скорость, с которой происходят события, все так быстро, что кажется нереальным. Работаю, как обычно, пью холодное пиво в барах, читаю газеты, и мне сложно поверить в то, что немцы в 120 км от Парижа. Сейчас я уже просто жду, что будет дальше, и смотрю. Несомненно, все это очень интересно.

9.6.1940

Воскресенье. Самое обычное. Люди начали уезжать, но по-прежнему тайком, самостоятельно. Об эвакуации ни слова.

Жара жуткая. После обеда мы пошли в Багатель⁴⁰. Солнце, цветут тысячи роз. Откуда-то издалека доносится грохот. Может, артиллерии, может, бомбардировок. Я остановился перед одним из кустов и стал прислушиваться к далеким отголоскам. Один из них прозвучал громче, и в тот же миг распустившая белая роза тихо осыпалась на землю.

У меня было такое чувство, что я, стоя перед этим розовым кустом, в пустом великолепном саду, прощаюсь безвозвратно со всем: с Францией, которая была как сон и растворяется как сон; с молодостью – и, может быть, с целой эпохой. В жарком воздухе благоухали розы, и чей-то далекий женский голос успокаивал плачущего ребенка: *Ne pleure donc pas, voyons...*⁴¹

⁴⁰ Парк на территории Булонского леса в Париже.

⁴¹ Ну, не плачь... (фр.).

10.6.1940

Кордон рухнул, как говаривал Дымша⁴². Срочная эвакуация. В машине с Жаном. Министерство внутренних дел уехало из Парижа ночью. И так повсюду. Я получил указание отправлять партиями всех польских работников. Первая партия уехала в час ночи.

То, что творится на вокзалах, описать невозможно. Париж внезапно проснулся, внезапно осознал поражение – и ринулся на вокзалы. Сейчас было пусто. Кое-где на перронах спали люди в ожидании завтрашних поездов. Я зашел в столовую Красного Креста, выпил пива и закурил сигарету. Потом медленно вышел, переступая в темноте через спящих на земле людей. Спали даже на тротуарах перед вокзалом. Я нигде не мог найти такси. Наверное, все уехали. Пошел домой пешком. Брел медленно по темному бульвару Распай. Полицейский проверил мои документы и отпустил. Я медленно прошел через Лувр, глубоко вдыхая свежий воздух, доносившийся из Тюильри. Небо совершенно темное. Рядом с Оперой меня застали врасплох залпы противозенитной артиллерии. В пустой и темной ночи их раскаты пролетали по мертвым улицам и только усиливали ощущение пустоты. Как эхо в глубине бездонного колодца – долгое, грустное,

⁴² Адольф Дымша (Додек; 1900–1975) – польский актер театра и кино.

опасное и безнадежное.

Над шумом всего дня, над бульканьем толпы, над всем городом витает даже не страх, а полная, абсолютная грусть. Это конец.

Сегодня вечером итальянцы объявили войну. Почти три часа ночи. Мне вставать в пять.

11.6.1940

Я встал в пять и поехал на вокзал Монпарнас. В метро давка и ад. Все ехали на вокзал со своими пожитками – чемоданами, корзинами, постелью, клетками с канарейками. Казалось, узкие вагоны метро резиновые, потому что, когда они уже были заполнены, люди еще входили, еще ставили чемоданы и еще находили место. Перед вокзалом, вокруг всего вокзала кольцо людей, слоеный, стометровой толщины пирог. Чемоданы, сундуки, матрацы, коляски, велосипеды, клетки с канарейками – все, что составляет имущество бедных и что они считают необходимым взять с собой. Чтобы все это вывезти, нужны поезда из страны великанов.

Свою группу я нашел почти чудом и почти чудом провел ее на перрон через боковой выход. Я никогда в жизни столько и так хорошо не говорил по-французски. Я провел своих людей через кордон полиции, через кордон железнодорожников, отловил начальника станции и с ним вместе посадил их в пустой вагон, стоявший на боковом пути. Потом вер-

нулся на вокзал за теми, кто отстал, потерявшись в этой адской толпе. На перроне умерла старушка – ее положили на багажную тележку и накрыли лицо носовым платком. Над всем Парижем стоял черный туман. Вроде бы немцы, переходя Сену к западу от Парижа, пустили искусственный туман. Сегодня он накрыл город. Немцы по-прежнему наступают и окружают Париж.

Выскочив на привокзальную площадь, я отыскивал в толпе наших людей и собирал в группы у одного из боковых выходов. У всех у нас лица почернели от этого тумана – какая-то медленно оседающая сажа. Примерно в 9 утра я собрал всех и посадил в вагон. Они были в хорошем настроении и угостили меня коньяком. Я выпил почти полбутылки, но коньяк не подействовал. Может, усталость. Наконец поезд тронулся.

Газеты перестали выходить, автобусов в Шатильон не было. Я пошел на фабрику пешком. От «Порт-д'Орлеан» в направлении Шатильона, то есть на юг, тянулась бесконечная вереница автомобилей, набитых вещами и людьми. Невероятное зрелище. В течение минуты я насчитал 26 проезжавших мимо машин. Вереница тянулась непрерывно со вчерашнего вечера. На фабрике всё в движении, даже французы перестали работать и в суматохе готовились к отъезду. У нас, в польском бюро, формировали на сегодняшний вечер третью группу. Я попрощался с французами и пошел домой укладывать вещи.

Снова невыносимая жара. Я так устал, что даже думать не хотел о том, чтобы собираться и третий раз проходить круги ада на вокзале. Бася вчера утром закрыла свою кухню на улице Ламанде и тоже начала укладывать вещи. Пообедать мы спустились в ресторан. После обеда продолжаем собираться. Непонятно, что берут с собой в таких случаях. Мы уложили четыре чемодана, тяжелых, как мельничные жернова. Супруги П. хотели уехать вчера, но не смогли попасть на вокзал. Решили остаться. Мы с Басей уже два дня думаем о том же. Примерно в пять я отнес чемоданы вниз. Я был настолько ослабленным и изможденным, что едва мог их поднять, хотя обычно справляюсь с тяжестями без труда. На лестнице мы встретили мадам П. Она сказала, что все их бросили, а теперь и с нами ей приходится прощаться. А потом начала говорить, что мы зря уезжаем, что Франция все равно уже проиграла и что это конец. Мы стояли на лестничной клетке с четырьмя чемоданами (вся наша жизнь, Басина и моя, в принципе, одни чемоданы) и чуть не плакали. Я посмотрел на них, и меня охватила ярость. Не поеду. Пусть будет что будет, с меня хватит. Я отнес их в квартиру сторожа (консьерж опять сбежал), и всё. Решил поехать на вокзал, посадить третью группу в вагон, выполнить обязанности до конца, а потом вернуться домой и лечь спать.

На вокзале третья группа уже ждала. Я довольно быстро понял, что поезда больше не ходят. С инженером, сопровождавшим группу, мы пошли к начальнику станции. Никакой

надежды на поезд: завтра утром, может быть, но никаких гарантий. Что делать? Из комиссариата полиции звоню в Шатильон. Директор говорит, что людей нужно отправить назад, чтобы они подождали до завтра. Через час приехал грузовик и отвез их на фабрику. Я вернулся домой. Мне уже было все равно. Я решил, что на работу поеду завтра и узнаю, как дела. А сейчас спать.

12.6.1940

Я встал рано и, доехав на метро до «Порт-д'Орлеан», пошел пешком на фабрику. Там грузили последние ящики. Дирекция распорядилась, чтобы французы и поляки шли пешком в направлении Немура. На одном из грузовиков, чудом отбитом у французов, поехали вещи поляков, их жены и дети – худший груз в таких случаях.

Больше делать было нечего, и я собрался в обратный путь, домой. По пути купил газету, похожую на бюллетень, на одной странице. Немцы перешли Сену, все мужчины призывного возраста обязаны покинуть Париж. Я прочитал это, и все во мне закипело. Нет, не поеду. Но через минуту я задумался. Остаться в Париже – значит дезертировать. Может, еще не все потеряно. Я должен расстаться с Басей, потому что если я уеду из Парижа, не желая стать дезертиром, то только для того, чтобы где-нибудь и когда-нибудь воевать. А раз такое дело, то без жены. В армию с женой не идут. Внут-

ри меня все сжималось, я сам себе был противен за подобную трусость: люди могли бы сказать «дезертир». Ну и что? Нет, некрасиво, я должен уехать.

Мысли прояснились, и я с отвращением, болью, тошнотой от всех этих «некрасиво» и «долг перед Родиной» решил-ся на худшее. Я успокоился, будто выпив горькое лекарство. Пришел домой, медленно поднялся на седьмой этаж, открыл двери, поцеловал Басю и сказал ей, что мы должны расстаться.

Мы смотрели друг другу в глаза и молчали. Мне казалось, что она понимает эту необходимость лучше, чем я. Она молчала. А потом сказала: «Мы, наверное, уже никогда не увидимся». Зачем ты это сказала? Эти слова застряли у меня где-то под сердцем и причиняют боль с того момента, как мы расстались. Нет, увидимся – я глубоко в это верю, и ты должна в это верить. Мы слишком сильно любим друг друга, чтобы наша жизнь могла вот так закончиться. Мы ведь еще не жили толком – пока что жизнь давала нам тяжелые, набитые чемоданы и бесконечное число прощальных поцелуев. Тень этого таилась даже в самых счастливых наших мгновениях. Но все закончится, и мы снова будем вместе. Я верю. «Поверь», – единственное слово, которое я повторял тогда. Она помогала мне собрать самые необходимые вещи в одеяло. Я свернул его и из ремней сделал лямки. Получилось подобие рюкзака. Мы вошли в метро. Перед тем как спуститься на станцию, я поцеловал ее. Мы оба плакали. «Я вернусь», –

выдавил я и замолчал. Стоя на перроне, я пробормотал вполголоса такое, от чего все польские матроны и офицеры штаба рухнули бы на месте. Я сразу стал думать об армии, о чем еще думать в такой ситуации? И от одной только мысли у меня темнело в глазах. Я всегда так «любил» нашу армию, что меня прямо во время призыва посадили в тюрьму. Я слишком хорошо ее знал. С детства.

Когда я пришел на фабрику, поляки уже отправились в путь пешком. В конторе я застал Роберта, коллегу. Мы оба пришли к выводу, что идти пешком смысла мало. Во дворе еще стояло много грузовиков, и мы решили забраться в один из них. А пока мы сидели в конторе и обсуждали события двух последних дней. Наши польские начальники с опытом, приобретенным еще на родине, повторили здесь то же самое. Бросили всё и всех и испарились. Мы накупили еды, рассовали ее по сумкам от противогазов, которые нам раздали несколько дней назад. Противогазы мы оставили на столе. Потом аккуратно погрузили наш багаж в один из грузовиков, сами прошмыгнули под брезент и легли между рядами шин, двумя мотоциклами и аккумуляторами. Нужно было спрятаться, поскольку перед фабрикой стояли женщины, которых не взяли из-за нехватки места, и те при виде нас наверняка устроили бы скандал. Когда грузовик отъезжал, мы хорошенько замаскировались и только на трассе вдохнули свежего воздуха.

Дорога представляла собой небывалое зрелище. Беско-

нечная вереница автомобилей в два, а кое-где и в три ряда. Все набито постельными принадлежностями, чемоданами, ящиками, тюками, клетками с самой разной птичьей живностью. Все это ползло медленно, поскольку, если из одной машины убегала собачка, машина останавливалась, собачку бросались ловить, и все останавливалось. Если машина ломалась, а много развалюх ломалось по дороге, так как от постоянного движения на первой скорости моторы перегревались, все останавливалось. По обочине протискивались велосипедисты и пешие. Все с котомками и чемоданами. Все, что имело колеса, шло в ход. Какая-то старушка тащила тачки, полные барахла, а чуть дальше ехал трехколесный велосипед с ящиком у руля. На нем сидела еще одна старушка с большой собакой на коленях. Мужчина с трудом крутил педали. И все это растянулось на километры, куда ни глянь. Я смотрел на это, сидя в грузовике, и думал, зачем эти бедняки и пожилые люди убегают. Ведь никто из них не знал, куда шел. Они шли без цели, куда глаза глядят, потому что другие шли. Одержимые, отравленные ядом бегства. И в то же время это происходило как будто не со мной. Я чувствовал сейчас только любопытство, безудержное, густое, накапливавшееся во рту, как слюна. Смотреть, смотреть, впитывать, запоминать. Я первый раз в жизни пишу, делаю заметки. И только это мне интересно. А еще – наслаждаться чудесной свободой, хаосом, в котором ты должен выжить.

Небо затянуло тучами, начал накрапывать летний дождь.

Мы забрались под брезент. От Парижа до Немура примерно 84 км. С полшестого вечера и до наступления сумерек, то есть до половины десятого, мы проехали 15–20 километров. Мне захотелось спать. Я устроился на шинах, свернулся калачиком и стал засыпать с неопишуемым удовольствием. Со стороны дороги непрерывно доносились рев моторов, крики, переклички, шум.

13.6.1940

Я почти не спал. Дремал. Ночью шел дождь, и мне несколько раз пришлось вставать, поднимать брезент и выливать воду. Он не был натянут, и в его складках образовывались лужи. К счастью, он не протекал. Рано утром похолодало. Ночью мы несколько часов стояли, застряв перед каким-то городком. На рассвете двинулись дальше в темпе похоронной процессии. Нам сказали съехать на проселочную дорогу. День ясный и жаркий. С полей доносился запах испарявшихся влаги злаков и цветов. Куда ни глянь, тянулись колонны машин. Мы только и ждали, когда прилетят немцы и превратят все в месиво. Но те не прилетали. По дороге части военных колонн, отступающих в полном хаосе, группировались для дальнейшего отступления.

В полдень мы остановились на обед, потом отправились дальше. Только под вечер доехали до Немура. 84 км за двадцать четыре часа. По Немуру проносились колонны отсту-

павших подразделений – никто не останавливался. В сумерках пришла первая партия поляков, вышедших вчера утром из Парижа. Фабричные автомобили в Немуре не остановились и поехали дальше, в Сюлли-сюр-Луар. Единственная машина, которая могла захватить уставших, со сбитыми ногами людей, был наш с Р<обертом> грузовик. Кроме того, нужно было подождать тех, кто еще не дошел и должен был подойти завтра утром. Я чувствовал, что французы заставят наших и дальше идти пешком, тем более что те паниковали и настаивали на том, чтобы выехать из Немура еще сегодня вечером. Я отвел нашего водителя в сторону, попросил сделать вид, что с машиной что-то не так, и идти спать. Ему не нужно было повторять дважды. Бегом побежал. Потом я убедил директора, что спешить не стоит и что они тоже могли бы поспать. Убедил. Стал искать, где бы самому переночевать. На реке, протекавшей через центр города, стояла баржа – убежище протестантской миссии. Я нашел пастора. Он был вежлив и похож на Шуберта. Сказал, что на барже нет места, там женщины с детьми и роженицы. Что он швейцарец. «Зачем это все, почему?» – вздыхал он, поднимая глаза к небу. «Чтобы не так скучно было», – ответил я. Он с ужасом посмотрел на меня. Я спросил, есть ли какие-нибудь политические новости. Рейно сегодня вечером обратился за помощью непосредственно к Рузвельту. Французские власти теперь ждут ответа Америки. Пусть ждут.

Наступила ночь. Пастор нашел амбар, и наши люди пошли

спать туда. Я еще пошел купить еды, а точнее, хлеба, который достать все труднее. Я был грязный, волосы как пакля, поскольку я не взял ничего на голову. Купил берет. С Робертом мы договорились, что я буду спать в машине, надо же ее охранять. Кто-нибудь мог потихоньку ночью уехать. Я лежал на водительское сиденье. Река шумела и бурлила в темноте, вдалеке слышался монотонный шум моторов отступавших частей. Я смотрел в темное стекло и молился, как обычно перед сном.

14.6.1940

Я встал в шесть. Чуть погода подошел Роберт, и мы направились к реке. Разделись и зашли в воду. Воздух холодный, еще пронизанный прохладой рассвета, и у меня зуб на зуб не попадал. Но вода, согретая трехнедельной жарой, была теплая и приятная. Блаженство. Я даже побрился. Потом стал искать горячий кофе. Это была мечта – в кафе всё смели, ничего, шаром покати. Осталось белое вино. Его было в достатке. Французское начальство собралось и стало нас подгонять. К счастью, куда-то делся водитель. А в это время всё подходили и подходили группки польских рабочих, шедших из Парижа пешком. Я сажал их в «наш» грузовик. Потом стали подходить французы, с женами и детьми. Они тоже шли пешком. Ситуация выходила из-под контроля, так как нам сказали уступить место женщинам и детям. Наши стали воз-

мущаться, назревал скандал. Французы были правы. Наши в конце концов уступили. Тут приехал большой фабричный грузовик. Он вернулся из Сюлли-сюр-Луар за отставшими. Какое облегчение! Нас посадили в него. Выехали из Немура в два часа дня.

Ехали быстрее. Дороги уже очистились, и царил полный порядок. Движением управляла армия. Мы опять ехали в толпе военных колонн, смешанных с беженцами. Армия не отступала, а тоже бежала. Солдаты слонялись без всякой дисциплины. Народное ополчение. Только телеги с едой шли без перебоев, и в обед вся банда становилась образцово дисциплинированной при виде консервов, хлеба и супа. Под вечер мы въехали на мост через Луару. Река почти высохла, и мне не особо верилось в то, что ручей мог представлять собой линию какого-либо сопротивления. Сюлли забит беженцами. Мне пришлось спрятать мои две буханки хлеба, потому что их съедали глазами.

В Сюлли собралась уже вся фабрика. Завтра утром должны ехать в Бурж и Мулен. Что касается нас, никаких распоряжений не было. Я пошел на вокзал узнать насчет поездов. Мне сказали, что, может, завтра будет поезд в Бурж. Этим я уже не интересовался, потому что организацию взял на себя Х. как руководитель группы. Я еще сделал список наших – приехали почти все, а потом пошел ужинать. Мы выпили на двоих с Робертом бутылку коньяка, а спать легли на чердаке какого-то дома. Вечером появилась новость, что, если

Америка не вступит в войну, французы будут просить перемирия. Мне показалось это вполне правдоподобным, хотя французы уверяли меня, что на Луаре армия дает отпор. Я хотел спросить, какая армия? Та, которую я вижу вокруг? Это уже не армия.

15.6.1940

Утром спали долго. Когда мы пришли на сборный пункт, оказалось, что большинство наших уже уехало на поезде в Бурж. Остальные садились в грузовик. Роберту и мне надоела эта теснота. Мы сняли с машины чьи-то два велосипеда и решили ехать в Бурж на них. Машина с земляками уехала, а мы медленно и с благоговением сели завтракать. Надоели крики, спешка и нервозность мужчин, взволнованных женщин и орущих детей. Мы выехали примерно в 11.

Дорога до Буржа сначала была забита, но на велосипеде всегда можно протиснуться между автомобилями. Через полчаса суматошной езды мы выехали на пустую трассу. Дорога прекрасная. Примерно в два мы остановились на обед, проехав около 40 километров. Потом двинулись дальше. Ехать было чудесно. Пологие подъемы в гору и длинные спуски вниз. За 15 км до Буржа нам сказали съехать на проселочную дорогу. Крюк в 5 км. Но мы уже притомились. Примерно в шесть въехали в пригород. Роберт так устал, что, несмотря на то что ехал очень медленно, упал и ударился

носом об асфальт. Из разбитого носа пошла кровь. Она хлынула ему в горло и текла изо всех дыр наружу. Какие-то парни принесли воду, а двое мужчин стали давать советы. Услышав, что мы говорим по-польски, они тоже заговорили по-польски. Евреи, беженцы из Антверпена. Мы сразу нашли знакомых, у дяди одного из них был склад мехов в Кракове. «Вы знаете, у него были меха на Висльной, если идти с Рынка, с правой стороны»... У Роберта между тем перестала течь кровь, и через минуту мы въехали в город. Всех наших мы нашли на вокзале. Французы забрали машину и сказали, что дальше мы должны ехать на поезде до Кемперле. Оттуда нас отправят в Англию. Да, там ждет крейсер, и на нем нас встретят с цветами. Я пошел к военному комиссару. Он был вежлив, но прямо сказал, что никакие поезда на запад уже не ходят. Нужно ехать дальше на юг, а оттуда, может быть, в Бретань. «Через Пекин в Отвоцк»⁴³.

Смеркалось, когда я купил газету. Немцы уже в Париже. Об этом не сказано дословно, но можно догадаться по содержанию. Мы сели с Робертом за столик закрытого бистро и, достав наши запасы, поужинали. Роберт – прекрасный товарищ: спокойный, педантичный, знает, чего хочет, как и я, не переносит толчею. Мне он очень нравится. Мы вернулись на вокзал, а там оказалось, что велосипеды не принадлежат никому из поляков. Какой-то француз погрузил один из них в машину и пропал. Следовательно, у нас появился «наш ве-

⁴³ Цитата из пьесы Антония Слонимского «Бездомный врач» (1930).

лосипед». Теперь оставалось найти второй, так как для меня после сегодняшнего дня это был лучший способ передвижения.

Уже ночью мы отправились в город в поисках ночлега. Луна ярко светила на безоблачном небе. Везде все забито. Всю ночь мы продремали на бетоне перрона.

16.6.1940

После бетонной ночи мы встали уже в пять утра. Х., до этого руководивший группой, в Бурже не появился. Примерно в девять мы начали штурм товарного поезда. Вагоны были забиты женщинами и детьми. Роберт и я нашли два места прямо у дверей. Мы сидели, свесив ноги наружу. Давка в вагоне объяснялась безгранично глупым размещением вещей. Мы хотели навести порядок, но об этом даже речи не могло быть. Подпарижский народец непримирим. Парализованный старичок на коляске стал грозить Роберту палкой. Никто никому не хотел помогать. Когда я одной из женщин принес бутылку воды, она вырвала ее у меня из рук и посмотрела как на врага. Поезд тронулся, мы ехали в Монлюсон. Сразу после Буржа остановились. Пролетел немецкий самолет, но поезд не обстреливал. Опять тронулись. Жаркий день, в вагоне воняет. Старичок занервничал. Увидев, что на станциях люди выходят и ложатся на траву, он тоже захотел

выйти и *prendre un peu d'air*⁴⁴. Потом у него начался приступ бешенства, он обзывал и бил палкой всех вокруг. Дочь стала плакать и кричать, что он сошел с ума, началась суматоха. Она рассказывала всему вагону, что она сделала для отца, а старик ругался, что фрицы уже здесь, что Франция уже не Франция, а просто-напросто говно, в принципе, говорил по делу и совсем не как сумасшедший. *Vivent les fous*⁴⁵, – сказал я Роберту.

Небо затянуло тучами, пошел дождь. Мы пили ужасное, затхлое белое вино, другого в Бурже не нашлось. В горле у меня пересохло, мучила изжога, и я еле держался на ногах. Под вечер приехали в Монлюсон. Мы собрали манатки – и в город, несмотря на призывы остальных ехать дальше. И не подумая. В городе нам удалось наконец съесть нормальный ужин с супом и мясом. Потом поиски ночлега. В кинотеатр вносят охапки сена. Входим внутрь – роскошь. Мягкие кресла, много места, можно принести себе соломы. Я только не понимаю, почему бы им не показать какой-нибудь фильм. Было бы приятно лежать на соломе и смотреть на Марлен. Мы сразу вернулись на вокзал за вещами. Там выяснилось, что часть группы уехала на одном поезде, а вторая, не отвовав себе места, ждала другого, которого еще не было. Я посмотрел на Роберта, покрутил пальцем у виска, и мы, взяв велосипед и багаж, пошли в кинотеатр. Свое барахло мы оста-

⁴⁴ Вдохнуть свежего воздуха (*фр.*).

⁴⁵ Да здравствуют сумасшедшие (*фр.*).

вили там, попросили присмотреть дремавшего на соломе беженца и пошли в город.

В городе полно военных беженцев. Сидят себе в бистро, пьют вино или кофе и судачат. Вечерняя газета наделала шуму, так как сменилась французская власть, эвакуированная в Бордо. Рейно подал в отставку, его место занял Петен, вице-премьером стал Вейган – почти все военные. У всех на лицах обеспокоенность: не значит ли это, что обороняться придется до последнего. А тем временем немцы уже в нескольких местах перешли Луару. Это конец.

Из любопытства мы пошли на вокзал. Вторая группа тоже уехала. Тут вдруг появились двое наших рабочих. Один из них, Тадзио, отвел меня в сторону и заявил, что специально опоздал на поезд, не мог больше выдержать. Мы проводили их в кинотеатр, а потом еще раз вышли погулять. Я не знаю, почему мне пришло это в голову, но, увидев двух прилично одетых женщин, я подошел к ним и спросил, не знают ли они, где здесь можно переночевать. Одна из них сразу сказала, что у нее. Роберт меня одергивал, но я не останавливался. Мы пошли вместе с ней. На узкой улочке она повела нас через проход, потом во двор и дальше в сарай. На земле солома, старый диван, она принесла нам одеяло и ведро воды помыться. Это самое главное. Мы вернулись в кинотеатр, захватили пару вещей и – спать.

17.6.1940

Встали в девять. Мадам приготовила нам горячий кофе и позволила позавтракать на кухне. По профессии она портниха. У нее магазин женской одежды, у мужа магазин радиоприемников, и он сейчас на фронте. Оба магазина закрыты. Как раз сегодня утром он звонил ей сказать, что здоров и все у него хорошо, отступает вместе с армией около Монлюсона. Она говорила, что все это ужасно, что, наверное, Франция вот-вот попросит перемирия, но что делать – главное, чтобы муж вернулся. И чтобы они снова были вместе. Наверное, она права.

На вокзале мы узнали, что поезда больше не ходят. Был полдень. Перед одним кафе стояла толпа, а изнутри доносились звуки радио. «Марсельеза». Мы подошли. Я стал спрашивать, в чем дело. Увидел заплаканные лица женщин и мрачные – мужчин. В конце концов один рабочий сказал мне равнодушным тоном: «Франция просит Гитлера о перемирии». «Марсельеза» заканчивалась, и снова повторялась вторая часть. Помимо воли я повторял в голове слова *formez vos batallions – marchons, marchons*⁴⁶ и одновременно осознавал смехотворность этих слов. Франция просит мира. Мне хотелось плакать, а я улыбался, иронично шепча вместо *marchons*

⁴⁶ Постройтесь в батальоны – идем, идем (*фр.*).

– *fuyons*⁴⁷. Я схватил Роберта за рукав и сказал: «Они пошли на мировую – всё, конец». Мимо нас проходили заплаканные женщины, а по улицам мчались автомобили, заполненные оборванными солдатами.

Мы успокоились. Что делать? В этот момент к нам подошел Тадзио, улыбающийся и довольный, что наконец-то нас нашел. Тадзио всегда мне нравился. По профессии шофер, родился в Варшаве, откуда прихватил с собой богатое таксистско-автобусное прошлое и потрясающий язык. Тадзио стоял, глядя на проезжающие машины, плевал и в конце концов сухо заявил: «Нужно отсюда поскорее смываться, а там посмотрим». Стали думать, как это сделать. Поездов нет, идти пешком не имеет смысла. Тадзио тщательно скручивал сигарету, то есть «спирохету», и наконец заявил, что лучше всего купить велосипеды.

Я сразу согласился. После долгих поисков мы нашли магазин. Подержанных уже не было, только новые. Тадзио купил себе полугоночный за 630 франков, я – отличный шоссейный за 715 франков. В магазине меня охватила дикая и бессильная ярость. Почему замечательная страна, где новый велосипед стоит третью часть среднего заработка рабочего, почему эта страна летит ко всем чертям? Я все время воспринимаю это как самый настоящий крах. Вероятно, так и есть. И возможно, именно это чувство, чувство безграничной печали – самое худшее. Роберт упаковывает наши вещи.

⁴⁷ Идем – бежим (*фр.*).

Боюсь, скорее велосипеды поедут на нас, чем мы на них.

18.6.1940

Встали примерно в семь утра. Небо пасмурное, собирался дождь. Немцы с Францией уже разделались и на погоду им плевать. Польский сентябрь и французский май-июнь были одинаково солнечными и ясными. *Hitlerwetter*⁴⁸. Слабая и небогатая Польша и великая и богатая Франция по времени защищались одинаково. Мы и все прочие считали нашу оборону позором. Французская оборона на этом фоне – просто преступление. Мы хотели защитить себя, но было нечем. У них было чем, но они не хотели защищаться. Любопытно, сможет ли Франция оправиться от удара. Мысли, которые непрестанно беспокоят меня со вчерашнего дня.

Выезд из Монлюсона был сродни цирковому искусству. Несколько километров нам пришлось тащить велосипеды и проталкиваться сквозь плотную массу автомобилей, орудий, тягачей и танков. Да уж, хватало железного добра. Дальше стало посвободнее и можно было ехать. Начался дождь. У одного из грузовиков стояла группа солдат. Они остановили нас и пригласили выпить. У них было несколько бочек с ромом, и они поили им всех встречающих. Тадзио залпом выпил поданные ему полстакана, сплюнул и вернул его с добавле-

⁴⁸ Гитлеровская погода (нем.). По аналогии с «кайзерветтер» («императорской», то есть прекрасной, погодой).

нием совершенно удивительных прилагательных в адрес лягушатников. Мы направляемся в Бордо. Под вечер съехали в долину Крёз. Наступал прохладный вечер. Я лежал на руле и делал резкие виражи, наклоняясь всем велосипедом. В этом было что-то упоительное. В какой-то момент я отчетливо почувствовал, что мне все становится безразличным. Я пишу это и чувствую, что во мне что-то сломалось. Возможно, это был разрыв с прошлым. Наконец-то. В этой суматохе я стал свободным. Может, я даже расстался с самим собой. Отлично. Меня распирает. Сожаление? О чем, какого черта? О той жизни? Это был кошмар, постоянное удушье. Кошмар школьных лет, кошмар жизни, к которой я приспособливался, не в состоянии найти себя. Я разговаривал с самим собой посредством других. Посредством кого? Посредством чего? Черт!

На дне долины надпись на дорожном указателе сообщала, что примерно в 1500 метрах отсюда деревня, а также «храм XII века и римский мост». Я, не раздумывая, свернул. Надо посмотреть. Настоятель римской жемчужины разместил нас на тюфяках в одном из домов. Перекусив, я пошел на прогулку. Над сырыми лугами плыл туман, трещали сверчки и сияла луна. Я шагнул на мост. Меня охватило волнение. Мысленно я листал картинки ландшафтов Терликовского⁴⁹ (такая скукотища) и смотрел на круглые узкие арки из се-

⁴⁹ Владзимеж Терликовский (1873–1951) – польский художник-самоучка. С 1911 года жил в Париже.

рого камня. У въезда фрагменты валунов дороги, по которой ездили колесницы и тяжелым шагом маршировали римские легионы. *Gallia est omnis divisa...*⁵⁰ Почему тогда они защищались, хотя их снаряжение и техника были хуже римских? С далекой дороги доносился непрерывный рев моторов, а под мостом квакали лягушки. В темноте замаячила коренастая фигура Тадзио. Он закурил сигарету. «Пан Б<обковский>, не переживайте. Завтра чешем дальше. Даже приятно драпать по таким дорогам. Цивилизация, она и есть цивилизация – все как-то поровнее идет. Не так, как у нас. Но обормоты они те еще, что правда, то правда». Тишина. Роберт и Тадзио громко сопят, свеча потрескивает.

19.6.1940

Погода улучшилась. С утра солнце и жарко. На завтрак горячий кофе с молоком. В десять мы отправляемся на Гере. Солнце припекает беспощадно, но высаженные вдоль дороги платаны образуют свод, как в беседке. За полтора часа доезжаем до Гере. Люди с тачками, очумевшие, с детскими колясками, идут в противоположном направлении. Узнать у них ничего невозможно. Отупевшие. Едем дальше. Оказываемся в пригороде. Здесь узнаем, что час назад была бомбардировка. В городе полно солдат, рынок забит машинами,

⁵⁰ «Вся Галлия делится...» (*лат.*) Из «Записок о Галльской войне» Юлия Цезаря.

пушками. Два дома догорают, а посреди дороги воронка от бомбы и каркасы сгоревших автомобилей. Тадзио огляделся и деловито заявил: «Надо отсюда побыстрее смываться, эти б... вернутся. Я их знаю: до вечера не дадут покоя; у них только после шести *fajerant*⁵¹. Мы больше не искали, где бы нам утолить жажду. Протискиваемся между сотнями автомобилей. Находим дорогу на Сен-Сюльпис. Жара. После Гере решили пообедать. Хотели присесть в придорожном бистро, прямо у дороги, но Тадзио не дал. «Я хочу спокойно поесть». Он оттащил нас с дороги, в поле. Мы открыли банки с паштетом и сардинами, намазали хлеб, и тут что-то начало реветь. Тадзио встал, отошел от дерева и крикнул: «Идут б... вон... раз, два, пять, восемь, десять». Мы бросили еду на траве и бегом под деревья в неглубокий ров на лугу. В Гере грохот, сбросили бомбы. Затем треск пулеметов. Тадзио закричал: «Чешут из пулеметов, чтоб им пусто было». Самолеты пролетели над нами. Я распластался, как бумажка, но повернул голову, чтобы что-то видеть. Протяжный свист все ближе, грохот. Хлестануло потоком воздуха. Треск пулеметов. Строчили по шоссе. «Итальянские бомбардировщики – Fiat B.R.20», – говорю я Тадеушу. Тадзио матерится. Возвращаемся к еде. Двадцать минут спустя снова гул. Они яростно бомбили Гере. Потом опять пролетели над нами, строча из пулеметов по шоссе. Я лежал и боялся. После налета мы быстро поели и рванули подальше от этого окаянного места.

⁵¹ Конец рабочего дня (нем., жарг.).

Бомба упала почти туда, где мы хотели сесть. В бистро вылетели все стекла, с крыши кое-где осыпалась черепица, на дороге валялись сучья, а на пороге бистро лежал окровавленный труп. Я просто подумал: «Главное, это не я». Через несколько десятков метров, у тропинки, стояли две бутылки вина. Кто-то их бросил и убежал. Тадзио взял их с собой. Мы теперь больше смотрим на небо, чем на дорогу. Проехали, наверное, с 10 км, и снова черти их принесли. Та же десятка. Рядом с нами спокойно едет машина. Закрытые в лимузине люди ничего не слышат. Мы подаем им знаки. Они останавливаются, а потом как безумные бросаются в поле, оставив ребенка в машине. Я схватил мальчика на руки, перелез через забор сада у шоссе и присел в канаве. Бедный ребенок дрожал, слезы текли у него из глаз. Он уже не мог громко плакать, просто слезы текли из глаз. Я прижал его к себе и успокаивал, думая про себя, что я сам ужасно боюсь. Тадзио откуда-то крикнул: «Летят мимо!» Я поцеловал мальчика и отнес в машину. Мать так испугалась, что забыла о нем. И сейчас он, прижавшись к ней, молча плакал. *La prochaine fois ne l'oubliez pas*⁵², – сказал я, вымещая на ней весь гнев за собственный страх. Она, вероятно, подумала, что я очень смелый.

Тадзио посмотрел на часы, увидел, что уже восьмой час: «Можно спокойно ехать, рабочий день закончился. Сейчас они приземлятся, наклюкаются, морды нажрут, а завтра по

⁵² В следующий раз не забывайте его (*фр.*).

новой. Где мощь французов? Немцы летают тут, как у нас в Польше». Он прав. Вокруг полно войск, полно зениток и пулеметов, и ничего; никто не ответил. Примерно в девять я съехал с дороги в поисках ночлега. Нашел ферму. Все ужинали. Хозяин охотно согласился пустить нас переночевать в сарае. Угостили супом и вином. После ужина я зарылся в сене. Стрекотали сверчки, квакали лягушки. Уже в пижаме я вышел и сел на камень у колодца. Выпала роса, и сигарета отсырела. Поздно ночью в сарай пришли спать двое рабочих из Парижа. Они уехали на день позже нас. Сказали, будто бы по радио объявили, что все мужчины призывного возраста, не покинувшие Париж до двенадцати ночи тринадцатого июня, будут рассматриваться как дезертиры. Когда и кем? А на Северном вокзале раздали людям около 6 000 велосипедов из камеры хранения, чтобы было на чем уехать.

20.6.1940

Мы выехали поздно, потому что Роберт по утрам совершает такой ритуал омовения, чистки, укладки своих вещей, что мы не могли выехать до десяти. Похоже, немцы все время продвигаются вперед, но еще достаточно далеко от нас. Роберт говорит, что не надо спешить. В полдень мы проехали через Сен-Сюльпис. Городок, расположенный в долине, окружен горами. Тропическая жара. Из купленной там газеты следует, что переговоры о прекращении огня продол-

жаются, но до момента окончательного подписания акта милосердия немцы будут наступать и боевые действия продолжатся. Какие боевые действия? Линия Мажино окружена. Две польские дивизии, задействованные под конец, отказываются отступать и героически сражаются. Часть дивизии, защищающей отступление войск и французских беженцев в Швейцарию, похоже, разбита. Пишут, что наши бросались с бутылками бензина на танки. Это немного лучше кавалерии, но все равно плохо, если это правда. Нет, мы – вне конкуренции. Французское правительство в Бордо. В два часа дня мы приехали в лес и проспали там до шести. Тадзио напевает мотив модного танго и матерится по поводу гористой местности. Уже в сумерках нахожу ферму. Я проводник, слежу за темпом и ищу ночлег. Принимают нас сердечно. Тут аж четыре молоденькие девушки. Мы едим ужин из наших запасов за хозяйским столом, и я общаюсь с ними за всех. Девочки с любопытством присматриваются к нам, одна из них знает несколько слов по-польски. Тадзио заигрывает с ней и несет чепуху. Потом говорит мне: «Пан Б., я остаюсь – на поводке за ней пойду. Девушка – чудо, пальчики оближешь, ножки мыть – воду пить. Как раз для мельнички⁵³». Мы устали. По лестнице забрались на сеновал. Под нами слышно побрякивание цепей и чавканье коров. Тишина. Запах молока и навоза. В темноте мелькнул светлячок, зеленоватая пыльца. Ночь безлунная, но яркая от звезд. Чудесно.

⁵³ Поза в сексе.

21.6.1940

Завтрак, умываемся, бреемся. Мы все время едем на Лимож. Без карты тяжело. Купить ее невозможно, все раскуплены. Примерно в час дня добираемся до Лиможа. Въезд в город закрыт. Я слезаю с велосипеда, и после длинной лекции пропускают только меня. Оставляю велосипед и иду пешком. В центре города меня настигает ливень. Я пережидаю в арке и иду на вокзал. Вокзал тоже закрыт, и только после долгих переговоров меня допускают к военному комиссару. Я спрашиваю о нашей группе. Он ничего не знает. Я возвращаюсь. Запасы у нас заканчиваются, и я ищу еду. С хлебом везде сложно. Нет ни джема, ни мясных консервов, магазины пусты. Ищу хоть что-нибудь. Наконец достаю колбасы, несколько банок паштета, бананы и апельсины. А также карту Франции, изданную «L'Auto» во время «Тур де Франс» 1936 года. У одного книготорговца была куча этой макулатуры, и теперь он продавал их по франку за штуку. Все шло нарасхват. Еще я нашел одиноко лежавший том переписки Байрона и купил его за 50 сантимов. Повезло. Мы пообедали по пути и отправились в Ангулем, 84 км. Тадзио теперь едет рядом со мной и рассказывает: «Пан Б., меня знали все шлюхи из <Гастрономии> и кафе <Клуб>⁵⁴». Когда такая нахо-

⁵⁴ Варшавские кафе, известные до войны как ночные клубы.

дила надравшегося клиента, то бряк его ко мне в такси, там его обрабатывала, все деньги забирала, мужичка высаживала, мне двадцать злотых на лапу и тю-тю». В этот момент два человека, шедших по дороге, замахали руками и окликнули нас. Два поляка-эмигранта. Они услышали безупречную польскую речь Тадзио и остановили нас. «Вы откуда?» – «Из военного лагеря в Бретани». Их мобилизовали, а три дня назад, ночью, сказали: спасайтесь, кто может. Офицеры удрали на машинах в порты, а потом в Англию; некоторые солдаты тоже уехали – в основном поляки. Как там Ясек⁵⁵? Хорошо, что меня не взяли в армию. Спали на ферме, в этот раз на соломе.

22.6.1940

С утра шел дождь. Мы спали. Выехали примерно в два. Кратковременные дожди. Промокли до костей. Снова влезли в толпу отступающих войск. Ехали на авось. По дороге на каждом шагу опрокинутые автомобили. Тадзио смотрел и матерился. Асфальт скользкий, в глине. Сороконожка переломала бы все ноги на такой дороге. Через тридцать километров я сдался. Нашел ферму. Куча соломы под крышей, защищенная только с двух сторон. За ужином нам составили компанию кошки и собаки, моросил дождь, с дороги до-

⁵⁵ Ян Биртус, брат Баси.

носился постоянный шум, визг и гул безжалостно ревущих моторов; сонливость; покой.

23.6.1940

«Отпуск никудашный, сезон не удался», – говорит Тад-зио. Роберт рассказывает нам чудеса о солнце Южной Франции, о Средиземном море. Тем временем мы плетемся в грязи по асфальтовым дорогам западного пограничья Центрального массива. Приближаемся к Ангулему. Не пропускают, объезд, блуждаем по проселочным дорогам. Уже ночью находим крошечную и бедную ферму. Там заканчивают ужин; вежливые. Хозяин ведет нас на сеновал. В большой миске на столе я вижу зеленый салат. Листья политы оливковым маслом, и это настолько аппетитно, что я не могу этого вынести: «Можно у вас купить салат?» Хозяйка немедленно встает и говорит, что она приготовит нам две головки. Вышла и вскоре принесла целый тазик салата. Мы съедаем его в мгновение ока, закусывая хлебом с паштетом. Эти ночи на сене, под монотонный шум дождя, замечательны.

24.6.1940

Утром опять дождь. Хозяйка принесла нам полведра молока на завтрак. Пьем молоко, я лежу и пишу. Льет дождь.

Потом ем шоколад, курю, засыпаю, просыпаюсь, грызу шоколад и дремлю. Около четырех часов дня к нам забирается по лестнице хозяин, что-то говорит и вдруг спокойно произносит: «Немцы отсюда в двенадцати км – взяли Ангулем». По крайней мере, мы узнали, что Ангулем в 12 км отсюда. Вскочили на велосипеды. Окружными дорогами выехали на шоссе в Перигё. Решили ехать на юг. Через полтора часа езды – Марёй. По дороге снова оказываемся в самом центре отступающих войск. Ясно, что отступают не тылы, а передовая линия – линия фронта. Толкотня и ор, грузовики, тягачи, танки, пушки.

Затор, все останавливается. Мы на велосипедах, нам удалось протиснуться и добраться до передней части колонны. Едем, и снова затор. Офицеры бегают вокруг и матеряются, 15-сантиметровые пушки, оставленные на краю дороги, сталкивают во рвы, крики. Выделывая цирковые трюки, мы продвигаемся вперед. Стоят четыре грузовика, и солдаты не хотят ехать, потому что не знают, что случилось с их снабженческим автомобилем. Только когда подъехал связной на мотоцикле и сказал, что жратва едет в километре от них, они трогаются с места. Через час то же самое. 15-сантиметровые пушки пытались миновать стоящую на месте колонну и свалились в придорожные канавы. То, что происходит, трудно описать. Ад. Мы продираемся и через несколько километров обнаруживаем идиллию. Голова колонны сидит на краю леса, расставлены столы и стулья (они везли их с со-

бой), и ужин проходит в самой спокойной обстановке в мире. *Garden party*⁵⁶. С музыкой. Играет патефон, рубиновые бутылки вина на столах, весело. У меня еще звучит в ушах ржание выпрягаемых лошадей, шум, скрежет. Тадзио посмотрел, плюнул и сказал: «Хреновая связь в этой ихней армии».

Насколько же отличается народ в мирную пору и во время войны. Война для народа как бросание монеты о мраморную плитку⁵⁷; хотя я ненавижу войну, мне кажется, что трудно найти лучшее испытание. Я вспоминаю, что думал о Франции долгие годы. Сегодня мне понятно одно: качества, которые умиляют в мирное время, которые высоко ценятся, эти французские качества губительны во время войны. В мирное время они забыли о войне, во время войны они не смогли забыть о мире. Уже смеркалось, когда мы въехали в какой-то городок. Улицы забиты военными, у домов полно людей. Один мужчина махал рукой солдатам и радостно кричал: *C'est signé, c'est signé!*⁵⁸ Я подошел к нему. Оживленно, как об очень радостном событии, он рассказал мне о подписании перемирия с Германией и Италией. Военные действия должны прекратиться в 1.35 ночи. Тем временем по улицам продолжают двигаться машины и армия. Сообщение о прекращении огня распространилось мгновенно. Возникло радостное возбуждение. Горожане сидели на окнах или стоя-

⁵⁶ Вечеринка в саду (англ.).

⁵⁷ Старинный способ проверки подлинности серебряной монеты.

⁵⁸ Подписано! Подписано! (фр.)

ли у дверей и, улыбаясь, махали солдатам. А те ехали, напевая и играя на губных гармошках. Прекращение огня будто приободрило их, придало им уверенности. Мне казалось, что они внезапно почувствовали себя так, будто им грехи отпустили. Герои, выполнившие свой долг до конца. В городке праздник. Бистро ярко освещены, двери широко распахнуты, алкоголь рекой и песни. И только в лучах света по-прежнему двигались черные силуэты автомобилей, пушек и вразброд идущих солдат.

Мы выехали из города, чтобы найти ночлег. Но повсюду полно военных. К нам подошли два пьяных солдата. Начали допытываться, кто мы. Здесь военная зона, и гражданским сюда нельзя. Я говорю, что мы поляки. И они начинают читать нам лекцию: вся война из-за Польши. Польша, вместо того чтобы договориться, перешла на сторону капиталистов и Англии, а Англия втянула Францию. Впрочем, здесь все написано. Один вытаскивает мятую листовку. Я хочу взять ее, но он упорно пытается прочитать ее вслух, хотя уже смеркалось. Что-то бормочет о международных трастах, о капиталистах, наконец заключает с бравадой: *Fini – nous sommes trop intelligents pour nous casser la gueule...*⁵⁹ Тадзио в ярости оттаскивает меня: «О чем вы собираетесь говорить с этими остолопами? Все то же, что и в Польше. Германия с одной стороны, Сталин – с другой, и крышка. Только к нам они пришли потому, что для такой писанины народ был слиш-

⁵⁹ Все кончено – мы слишком умны, чтобы нам били морды... (фр.)

ком глуп, а здесь они „умные“, так и промокашки хватит».

Едем дальше в полной темноте. Фары включать нельзя, и все погрузилось в кромешную тьму. Только придорожные быстро, забитые пьяными солдатами, пышут светом, как доменные печи. Эдакая Сечь из «Огнем и мечом»⁶⁰. Было уже за полночь, когда мы зарылись в сене. В сарае было электричество, и мы открыли бочки с вином. Тадзио посмотрел на часы и сказал: «Пан Б<обковский>, через пятнадцать минут штыки к ноге, оружие в штабеля и праздник моря». Голова у меня трещала от выхлопных газов и от рокота моторов.

25.6.1940

Погода собачья. Из разговора с хозяйкой я узнал, что примерно в 3 км отсюда находятся большая ферма и дворец. Владелец – поляк, очень богатый, *un millionnaire*⁶¹. У него вроде как живут польские беженцы и еще кто-то. Мы решили, что стоит туда заехать. Может, нам удастся съесть что-нибудь более существенное и узнать новости. Через двадцать минут мы въехали в аллею, а еще через минуту оказались перед большим заброшенным дворцом. Когда-то это было прекрасное имение. Парк, цветники, фонтан. Тадзио гово-

⁶⁰ «Огнем и мечом» (1884) – исторический роман Генрика Сенкевича (1846–1916).

⁶¹ Миллионер (*фр.*).

рит мне: «Сейчас выйдет ординат⁶²». Мы спросили господина Будзыньского. Нам сказали, что он работает. Я нашел его в парке. Ординат и владелец трехсот гектаров с дворцом оказался обычным познаньским крестьянином. Он был в рубашке, рваных штанах на подтяжках, в грязных сапогах. Таскал доски и собирал сучья. Позже я узнал, что он приехал во Францию работать шахтером, затем стал продавать колбасу, разнося товар в коробке. Купил велосипед, потом телегу с лошадью, затем сам начал делать колбасы, наконец купил ферму на севере, основал мясокомбинат, затем открыл большой колониальный магазин, расширил комбинат, заработал миллионы, купил здесь, на юге, это имение и теперь, поскольку ему пришлось бежать с севера, пригнал в поместье пять автомобилей, а на них три тонны сухих колбас и копченостей, консервированной ветчины и так далее. Он поставил крест на своем имении на севере (стоимостью в пять миллионов франков) и с радостью принялся за работу. Ему удалось вывезти несколько мясоперерабатывающих машин, и он планирует открыть здесь второй мясокомбинат, у него есть немного рогатого скота, начало положено, остальное придет, потому что «через два месяца французы начнутдохнуть с голоду», как он выразился. Он сам за всем следит, все сам умеет делать и сам за все хватается. Принял он нас любезно и с большим достоинством, рассказал, что еще неделю назад у него было консульство из Лилля, но,

⁶² Глава майоратного имения.

когда стало известно о приближении немцев, все мужчины уехали и остались только их жены. Он показал нам павильон, в котором они жили, и сказал: «Пусть графини позаботятся о вас. И так ничего не делают целыми днями, только сигареты смолят – польские пани...» Очень он мне понравился. Графиням был отдан в распоряжение весь павильон с кухней и столовой. Спали они во дворце. Дамы приняли нас любезно. Сразу приготовили горячий кофе с горой хлеба, колбас и конфитюром. Мы разговаривали о последних событиях.

Из выступления Петена по радио следовало, что французам вообще нечем было воевать. На полмиллиона солдат меньше, чем в 1917 году, не говоря о разнице в вооружении. Петен перекладывает вину на англичан. Они прислали только десять дивизий. Теперь англичане решили воевать сами. *Depuis la victoire, l'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. On a revendiqué plus qu'on n'a servi. On a voulu épargner l'effort; on rencontre aujourd'hui le malheur*⁶³. Наконец немного правды. Но Петен не сказал прямо, что это стало причиной поражения. Нет. «Слишком мало детей, слишком мало оружия, слишком мало союзников – вот причины нашего поражения». Чтобы никого не обидеть. А вообще все нормально. Жан Пруво⁶⁴ назначен верховным комиссаром

⁶³ «С момента победы дух наслаждения взял верх над духом самопожертвования. Мы чаще требовали, чем служили. Мы хотели сэкономить силы; сегодня нас встречает несчастье» (*фр.*)

⁶⁴ Жан Пруво (1885–1978) – французский медиабарон. С 6 июня 1940 года министр информации в правительстве Рейно, с 19 июня – верховный комиссар по

ром пропаганды. Пропаганды чего?

После кофе я взялся за велосипед, надо было кое-что починить. Затем был подан обед. Отличный. Я ужасно объелся. После обеда дамы пошли прилечь, а я, воспользовавшись прачечной, выстирал все белье: свое и Роберта. Развесил стирку на чердаке дворца. Ужин тоже был прекрасный, после чего мы еще долгое время сидели и разговаривали с дамами. В польском имении на каникулах. Я сказал, что останусь здесь подольше и отдохну.

26.6.1940

На завтрак кувшин кофе с молоком. Обьедаюсь до тошноты. Все утро я провел в разговорах с хозяином. Он замечательный.

Никто ничего не знает, поэтому мы решили продвигаться дальше на юг. Французы с фабрики рассказали мне еще в Сюлли, что они, скорее всего, отправятся в Каркассон. Не говоря уже о деньгах, которые нам должны, меня тянет на юг. Дважды такая оказия не случается. Я решил продолжить путь, переждать, посмотреть, что дальше, а затем вернуться в Париж. А пока направление на Тулузу.

Женщины заботятся о нас, как матери; обед грандиозный. После еды я гладил. Прибыл французский отряд и разместился во дворце. У них были с собой граммофоны; иг-

делам пропаганды в правительстве Петена, 10 июля 1940 года подал в отставку.

рали, веселились. У одного из младших офицеров я выпросил отличную дорожную карту. Теперь можно будет ехать по ней. После разговоров с солдатами пришел к выводу, что вся война представляет собой прогулку немцев по Франции. Этот отряд никогда не был в бою. Улепетывали уже при виде (в бинокль) одного бронированного автомобиля.

27.6.1940

Наконец снова солнце. Решили пообедать и сразу ехать дальше. Мы купили у Будзыньского много сухой колбасы и тем самым обновили наши запасы. Снова прекрасно пообедали. Прощаясь, я хотел заплатить дамам за наше содержание, но они не хотели ничего брать. Должен признать, что для жен консульских чиновников они вели себя чрезвычайно достойно. Я был приятно удивлен. Примерно в три мы уехали. Через два часа езды – Перигё. Полно солдат и беженцев. Мы остановились на минутку, чтобы съесть пять килограммов персиков, и отправились дальше. Каор-Монтбан-Тулуза. «Ну что, рванули, пока не уснули!» – сказал Тадзио и устремился вперед в гоночном темпе. Дорога замечательная, зеленые холмы с обеих сторон, медленно спускается вечер, холодно. Мы гнали как сумасшедшие. Нами овладело южное настроение. Ночевка на крошечной ферме. Замечательное красное вино.

28.6.1940

Солнце, ослепительное солнце, внизу извивается Гаронна. Я вдыхаю запах горячих лугов и зажимаю глаза, потому что полированный асфальт блестит, как зеркало. Меня раздражают города. Я быстро их проезжаю и дышу с облегчением, их покидая. Замечательный животный восторг, когда все внимание сосредоточено на скорости, указателях, еде и поиске ночлега. Такое впечатление, что у меня никогда в жизни не было столько всего, такой абсолютной полноты, наверное, поэтому мне так хорошо. Мы чувствуем, что въехали в другую страну, в другой климат. К полудню жара становится невыносимой. Дорога вымощена белым камнем, и я еду почти с закрытыми глазами. Тадзио постоянно подъезжает ко мне и разговаривает. Рот не закрывает. «Пан Б<обковский>, – раздражается Тадзио, – вы все о том же. Германия, Германия. Вы видите только Германию. А все не так... Францию уделали так же, как и Польшу. А вы знаете, что если поляк хорошо работал на фабрике, то француз втихаря сбивал настройки станка? Я почти каждый день терял время на то, чтобы настроить его, потому что все знали, что я и по 700 взрывателей в час могу сделать, а когда все идет хорошо, то и больше. А у них было партийное предписание: не более 400. И при любой возможности штамповали на регулируемом станке как можно больше брака. Вы знаете,

целые ящики металлолома. Сколько раз я видел ночью, как они друг другу передавали какие-то бумаги. Прятали их в карман и тут же бежали в сортир читать».

– Почему вы мне раньше об этом не говорили? – спрашиваю я Тадеуша.

– А что вы могли сделать? Ничего. Пока эту шайку не разгонят, мы попали как кур в ошип.

Тадзио прав. Франция, как и мы, подверглась огромному давлению и вынуждена была сдать. Гитлер физически разгромил ее, коммунизм морально вывел из строя. Я чувствую, что эта глава закрыта. Франция была тем, что принималось на веру. Сейчас я смотрю на нее, и у меня нет сил что-либо изменить.

На одном перекрестке, не зная, как ехать на Бельве, захожу на одну из ферм, чтобы спросить дорогу. На диване лежит мужчина. Я спрашиваю его по-французски. Он минуту смотрит на меня и спрашивает по-польски: «Вы поляк?» Оказалось, что арендатор фермы – поляк. Он пригласил нас в дом, через мгновение спустилась вся семья. Человек, которого я встретил первым, оказался зятем хозяина. Мобилизованный в польскую армию, он сумел сбежать из Бретани, прежде чем ее заняли немцы. Он рассказал ту же историю, что и поляки, встреченные по дороге. Сели обедать. Мы ели свою еду, они – свою, но угостили нас кислым молоком с картошкой. На десерт. Я узнал, что в этих местах много поляков, арендующих фермы «пополам». Система аренды довольно

обременительная, но говорят, что прожить можно. Французы бегут от земли в города, ферму получить легко, потому что есть районы, где в деревнях нет никого и земля не возделывается. Тадзио говорит мне: «Возьмите ферму, а я буду у вас батраком». Примерно в четыре мы отправились дальше. Горы, тяжелый подъем. Внезапно Бельве, прицепленный к склону крутого холма. Узкие улочки, головоломно спускающиеся вниз. На дверях домов и магазинов шторы, все залито солнцем. Мы помчались вниз, затем наверх: Бельве – гора, облепленная домиками и увитая гирляндами улочек. Дорога по дну обширной долины, белый виадук на фоне зелени. Мчимся. Опять под гору. Тадзио в ярости: «А, б... несла тебя крестить, – опять гора!» В тот самый момент, то есть в то время, когда распутница несла крестить гору, две женщины, работавшие в поле, замахали нам руками. Останавливаемся. «Вы поляки? Мы сразу поняли». Тадеуш шепнул мне: «Трудно не понять» – и тут же стал клеиться к младшей и подмигивать мне. Мать с дочерью работали на прополке свеклы. Арендуют ферму неподалеку и приглашают нас на ночлег. Вечер наступал мягкий, тихий, теплый – мы расслабились и решили остаться. Ферма чистая, везде порядок. Отец оказался каменщиком. Не мог найти работу по профессии и решил стать земледельцем. И у него получается. Веселый, полный достоинства, довольный. «А, поляки, поляки!» С легкой иронией. Тадеуш посмотрел на него: «Если у вас есть что починить, лучше сразу скажите, а не смейтесь над поляка-

ми». А у деда на самом деле был неисправный двухлемеховый плуг в ужасном состоянии. Осмотрели мы его с Тадзио – без клепки никуда. Тадзио взглянул на меня: «Будем клепать?» Мы принесли древесный уголь, велосипедные насосы вместо кузнечных мехов, молоток, клещи – настоящая кузница. Тадзио выбил старые заклепки, я резал старый железный прут, чтобы подготовить новые. Через три часа у старика был исправный плуг. После этого он стал приветливым и разговорчивым. Мы ужинали с ними вместе; они не позволили нам есть свое. Наши животы раздулись от супа и хлеба, и это было замечательно. В конце пан Круковский сказал: «Куда вы поедете – завтра Петра и Павла. Оставайтесь, можете мне сено перевернуть». – «Остаемся, хозяин».

29.6.1940

После завтрака мы отправились на луг ворошить сено. Светило солнце, трава была влажная от росы. Круковский принес холодный сидр и табак собственного производства. После каждого рядка сена мы пили и сворачивали сигарету. Закончив работу, я пошел в лес за земляникой. Насобирав целый котелок и съел со сгущенным молоком после обеда. (Куриный бульон и вареная курица.) Дремал в траве, писал. Вечер, белый от звезд и играющий сверчками, выпала роса. Мы сидели и разговаривали, а в конце концов все до единого согласилось с Тадзио, что «французы – олухи и минетчики».

30.6.1940

Тадзио разбудил меня: «Пан Б<обковский>, день – как царский рубль, плывем дальше». Мы поехали. В городках полно войск. Они ждут демобилизации. Французы подписали соглашение о прекращении огня на очень тяжелых условиях. Им нужно передать все вооружение Германии, согласиться на оккупацию половины страны и всего атлантического побережья, кормить и содержать всю оккупационную армию. На оккупированных территориях вроде бы сохраняется французская администрация. Также говорится о возможности возвращения «правительства» в Париж. Чем дальше на юг, тем легче с хлебом и пищей. В то же время мясные консервы найти невозможно. Но после пятисот километров пустоты снова появились пиво и лимонад.

Белые здания бензоколонок вдоль дороги похожи на игрушки и белеют на солнце, в садах кое-где пальмы. Днем въезжаем в Каор. Река Лот течет по скалистому оврагу, мчимся по шоссе на правом берегу. Дорога выдолблена в скале. Я ни о чем не думаю, просто смотрю. В Каоре покупаем персики, сыр и белое вино, садимся на скамейку и едим. В сумерках покидаем город. Ночь теплая и звездная. Окрестности полны скалистых холмов, сушь, ни одной фермы. Я забыл на скамейке в Каоре табак, и нам нечего курить. Я полон решимости ехать всю ночь и лечь спать на рассвете, раз

ни одной фермы рядом. На каком-то повороте мы останавливаемся, потому что Роберт что-то увидел и пошел проверить. К нам подъезжает патрульный мотоцикл, и два сержанта вежливо спрашивают, могут ли они нам помочь. Сигарет у них тоже нет. Останавливается еще автомобиль, и нам дают четыре сигареты. Теперь уже легче думать о ночной дороге. Роберт возвращается и говорит, что можно располагаться на ночлег. Он что-то нашел, но не знает точно что. Подходим. Пустая хижина из камней, кладка без раствора. Плоские камни уложены так, что круговые стены, сужающиеся вверх, сходятся и образуют крышу. Иглу из каменных плиток. Я свечу фонариком и восхищаюсь чудом пастушьего строительства. Мы срезали немного веток с карликовых дубов и кустов можжевельника, сделав мягкую подстилку. Я с наслаждением засыпаю.

1.7.1940

Уже в пять утра нас разбудил холод. Пронизывающая стужа проникала сквозь ничем не защищенный вход в каменную хижину и не давала спать. В долинах еще лежал туман, и солнце не вышло из-за холмов. Стуча зубами, собираем вещи и едем дальше. Около девяти часов приехали в Косад и позавтракали. Город опустошен, но нам удалось купить сыр и каштановую пасту в банках. Большую буханку хлеба привязали к рулю и – дальше на Монтобан. Только отъехали от

Косада – и чуть не превратились в четыре трупа на дороге. Казалось, дорога пустая, и Роберт, не заботясь ни о чем, съехал с правой стороны на левую. В тот же миг мы услышали визг шин на асфальте, в десяти сантиметрах от заднего колеса Роберта мелькнул автомобиль, скользя всеми заторможенными колесами. Он перелетел на левую сторону, врезался в бордюр, подпрыгнул на дренажной канаве и остановился в полуметре от толстого платана. Тишина. Мы помертвели. Только Тадзио сказал тихим голосом: «Если тот сейчас вылезет из машины и даст ему по морде, я буду стоять и смотреть, потому что он прав. Если бы такое со мной учудили, плевать бы ему зубами». Через минуту из машины вышел француз с разбитым лбом. Он пытался остановить кровь носовым платком. Я не знаю, то ли он не понял, что Роберт – виновник аварии, то ли был уверен, что это его вина. Он ничего не сказал. Ходил и тяжело дышал, успокаивая нервы. Две женщины, сидевшие внутри, тоже вышли из машины в совершенном замешательстве. Я попытался заговорить, мы вместе осмотрели машину. Никаких повреждений. Мы поехали дальше. Тадзио: «Пан Б<обковский>, это – не народ. Они хотели выиграть войну? Да они даже по морде съездить не могут».

Через час мы доехали до Монтобана и за городом, на берегу Тарна, расположились на послеобеденный отдых. Я думаю о пустоте этих районов. Вдоль дороги мы видели десятки домов, некогда жилых, иногда целые усадьбы: все забро-

шенное, гнилое, разбитое. В трех или четырех километрах от главной дороги можно найти места, где не встретишь живой души. Пустыня.

Перед ужином пьем замечательное красное вино по 1,50 фр<анков> за литр. Вина здесь везде хватает.

2.7.1940

Утром умываемся, бреемся, чистим одежду. В девять утра уже адская жара. В десять едем дальше. Три дня мы встречаем людей, возвращающихся на север. Возвращаясь, они машут нам руками и дают понять, что мы движемся в неправильном направлении. Около двенадцати въезжаем в пригород Тулузы. Едем вдоль бесконечной вереницы парижских автобусов. Сейчас здесь живут беженцы. Сушат белье на поручнях, сидят на траве, разжигают огонь, готовят и пьют. Мы въезжаем в город. В Тулузе еще есть польское консульство, в этом нас уверяли по пути. Подъезжаем к зданию. У ворот и во дворе полно соотечественников. Рабочие, офицерские жены, польские солдаты. По слухам, консульство выплачивает помощь, и люди ждут. Настроение чудовищное. Все испуганы, рассказывают небылицы, мечтают получить испанские или португальские визы, чтобы ехать дальше. Некоторые возвращаются в Польшу, немедленно, прямо сейчас; у немцев уже есть специальное ведомство в Лионе, в котором уговаривают поляков вернуться домой. Один отпавил-

ся прямо в Варшаву, другой уезжает сегодня. Какой-то господин бегают и клянется всеми святыми, что можно получить китайскую визу. У меня слабость к таким персонажам, и я заговариваю с ним. «Можно? Китайскую? Пан, где?» – «Это не так просто», – и загадочно улыбается. Я говорю шепотом: «А я хочу в Андорру... Я влюбился в дикторшу на „Радио Андорра“... Вы ее слышали?» Он моргает. Смеется.

Я решаю прежде всего узнать, есть ли в Каркассоне наша фабрика. Захожу в префектуру и в отделение Министерства вооруженных сил, но там уже простились с оружием, и никто ничего не знает. Мы идем в Польский дом. Люди ночуют прямо в саду, обсуждают происходящее. Кроме того, здесь кормят дешевыми обедами. Совершенно случайно узнал от какого-то француза, что в Каркассоне находится часть нашей фабрики. Поэтому я ни минуты не собираюсь здесь сидеть. Атмосфера чумная. Тадзио боялся, что мы хотим его бросить. «Если бы вы не взяли меня дальше с собой, я бы и так ни за что не остался с этими баранами. Здесь, что бы кто ни сказал, он всегда слышал это от более глупого и повторяет еще более глупому». Я обнимаю его и заверяю, что ни на мгновение не допускал мысли избавиться от такого сокровища. Он на седьмом небе. Мы покупаем немного еды в дорогу и уезжаем. Похоже, что из Тулузы не выпускают, на дороге стоят полицейские патрули. Еду первый, осторожно. Через некоторое время на дороге шлагбаум и черные мундиры. Я съезжаю в сторону, мы кружим по переулкам, затем

через километр опять выезжаем на дорогу. Никого нет. Как же, будут они караулить все выезды из города. Уже шесть, а до Каркассона еще 92 км. Я набираю гоночный темп. За первый час мы проезжаем 23 км, за второй – 22, восемь вечера. Начинаем искать ночлег. Дорога прекрасная – по сторонам мягкие склоны, луга, иногда белеет кладбище, окруженное колоннами темных кипарисов. Покой, тишина и гармония. Совершенно рефлекторно начинаю думать о Греции. Где-то вдалеке башенные часы вызывают мелодию. Тадзио что-то тихо насвистывает, замолкает. Подъезжает и говорит приглушенным голосом: «Как чудесно...» Наступает ночь. Бледно-голубое небо сереет, а кипарисы на кладбищах становятся еще чернее. Мы находим ферму, а рядом с ней стог клевера под крышей. Ночь жаркая. Я лежу на клевере, и у меня перед глазами холм, а на нем на фоне темного неба острая крыша маленькой церкви. Звонят колокола: один большой и несколько поменьше. Звонят. А черные кипарисы, луга, поля и виноградники разносят их звон, передавая его все дальше, все тише. Я слушаю и смотрю. Красота может быть такой же труднопереносимой, как боль. Ее можно терпеть лишь до определенного предела, переживать до определенной глубины. А потом ты в глубине души теряешь сознание.

Небо еще потемнело и стало фиолетовым. Заблестели звезды. Мы пошли мыться к большому бассейну возле источника. Разделись догола, черпали воду котелком и медленно обливались. Может, Франция – это Греция в те време-

на, когда ее стали называть Ахеей? Вокруг стрекотали сверчки, мелькали летучие мыши. Какой покой! Я долго не мог уснуть. Все, что было, перестало существовать. Я ни о чем не жалел; мне казалось, что я этой ночью здесь, на юге, впервые ступал по земле.

3.7.1940

Мы проснулись рано утром, разбуженные перезвоном колоколов. Солнце. Едем дальше. Уже началась жатва. Через двадцать километров мы присели на краю рва. Пшеничные поля на таком солнце казались белыми. Какую-то жатку, последнюю модель времен Марии-Антуанетты, подобие швейной машины и машинки для стрижки волос, медленно волокли коровы.

Около часа дня подъезжаем к Каркассону. Маленький очаровательный городок. На другой стороне реки замок, настоящий укрепленный град, как декорация в театре. В Каркассоне пусто, полдень и жара. В отеле «Витрак» встречаем семерых наших коллег из офиса в Париже. В Каркассоне находится часть нашей фабрики, есть даже что-то вроде дирекции. Можно получить 500 франков, а потом еще 675 – *indemnité de repliement*⁶⁵, то есть компенсацию за драпание, и сегодня составляют список нуждающихся в пособии – 23

⁶⁵ Эвакуационная компенсация (фр.).

франка ежедневно, подлежащие выплате с завтрашнего дня. Поляков воспринимают как своих, никакой разницы. После обеда нас размещают в большой комнате с пятью кроватями. Если спать вдвоем на одной кровати, комната обойдется очень дешево. Мы идем на нашу фабрику. Она расположена в здании заброшенной фабрики шляп. Нас записывают, завтра нам должны выплатить 500 франков. Мы вышли с фабрики и отправились на реку купаться. Тадзио, раздеваясь, наклонился ко мне и почти в самое ухо прошептал: «Пан Б<обковский>, с завтрашнего дня переходим в состояние покоя. Отпуск, отбой». Такое, наверное, возможно только во Франции.

14.7.1940

Каркассон? Нет, олимпийская деревня. Нам выплатили все, по 23 франка пособия в день. Отель – 3 фр. ежедневно, обед – 14 фр. с вином и хлебом *à volonté*⁶⁶. Как в старые времена. Красное вино; его подают охлажденным в больших графинах. Когда в одном графине вино заканчивается, берешь другой с соседнего стола. Война? Здесь знают о ней только по рассказам приезжих. Солнце, прекрасное и налитое; шелковистые, как шерсть черной кошки, вечера и ночи. С самого утра вода, леность растягиваемых во время плава-

⁶⁶ Сколько душе угодно (фр.).

ния конечностей. Безгранично хорошо. Я догнал здесь бы-
лую Францию. И теперь пью ее медленно, потихоньку, как
стакан хорошего вина. А потом? Мой Бог... «Завтра», «по-
том», «в будущем» – слова из другой эпохи. Она пропала,
погибла, и пусть ее история будет легкой. Если бы не удалось
отбросить эти слова, «сейчас» потеряло бы всякий смысл,
все очарование. Я хочу жить только «сейчас». С самого пер-
вого дня здесь я остро почувствовал, что судьба позволила
мне вытащить билет с огромным выигрышем и нужно ценить
каждую минуту. Я их коплю. Полные, круглые, ароматные
минуты и часы.

Сначала был Дакар⁶⁷. Британцы, не желая допустить воз-
вращения французского флота к немцам, разбомбили, уто-
пили и повредили половину боевых кораблей Франции. На-
чались регулярные морские сражения между французами и
англичанами. Англичане сделали все, что могли. Зрелище
жалкое. Но, самое главное, французы все-таки сражались.
Правда, в Дакаре – и – против англичан, но сражались. При
этом вели себя как жиголо, который получил по морде, – все
газеты плакали: я с тобой танцевал, а ты, а ты – фу-у-у, фу-
у-у, какая ты. Теперь они разорвали дипломатические отно-
шения с мерзкими англичанами. Всю ненависть к немцам,
все обиды за войну они вымещают сейчас на англичанах. Ко-

⁶⁷ Операция «Катапульта». Основным эпизодом операции было потопление си-
лами британского ВМФ французской эскадры в порту Мерс-эль-Кебир 3 июля
1940 года.

гда я говорю, что я поляк, они печально кивают головами: «Еще одна жертва англичан». Сегодня 14 июля. Французское правительство, в настоящее время находящееся в Клермон-Ферране, издало указ о том, что этот день должен отмечаться как день национального траура; поминальные богослужения в церквях. Как в тумане я вспоминаю этот день в прошлом году. Толпы людей на Елисейских Полях. Какая была замечательная армия... К чему это проклятое вранье повсюду? Стоит ли об этом вспоминать? Определенно нет. Я пишу и невольно улыбаюсь. Меня охватывает злорадная радость, что все лопнуло, рухнуло, что и дальше будет трещать по швам.

Я был сегодня в замке, в соборе. Перед алтарем стояло знамя, священник в черной ризе, месса без колоколов. После молебна на органе заиграли «Марсельезу». У меня подогнулись колени, перехватило горло. У Тадзио слезы в глазах. А французы выходили из церкви улыбающиеся, многие еще перед выходом совали сигарету в рот, надевали шляпы, шаря по карманам в поисках спичек или зажигалки. У меня сжимались кулаки. Насколько тяжелее жить, если ты – дикарь. Нет, будущее не за желудком и мозгом; несмотря ни на что, оно – за сердцем.

Большой отель на территории замка занят летчиками. Услышав, что мы говорим по-польски, один из них подошел к нам и сказал, что он чех. Говорил на ломаном польском языке, но его можно было понять. Стал рассказывать нам о

французах, причем с жалостью. «Они только через два месяца увидят, что произошло». Увидят. Но разве с ними может что-нибудь произойти?

28.7.1940

Ты знаешь настроение и жизнь в южных французских городах? Я все время думаю о тебе, и мне так жаль, что мы не вместе. У нас было бы так много тем для разговоров и так много возможностей испытать то, что от других ускользает, просачивается сквозь пальцы и кажется скучным, однообразным.

Была война, она еще продолжается, но похоже, что для них она уже кончилась, а сюда вообще не дошла. И они не изменились. Я выхожу вечером. Солнце скрылось за домами, и ощущаешь его только в узких улочках, где еще отдают жар разогретые в течение дня камни и жаром пышут стены домов. Часы между закатом и приходом ночи – бесцветные: на что ни посмотришь, все одинакового пепельно-белого оттенка, туманного, как выцветшая акварель.

Закрытые днем ставни сейчас открываются, и на улицу из домов выносят стулья, табуреты, кресла и скамейки. На них сидят одетые в черное старые женщины; они шьют, вяжут, штопают и разговаривают. Их язык – мелодичная, почти фонетическая речь французского юга. Как в пьесах «Фанни»

и «Мариус» Паньоля⁶⁸. В сумерки все выходят из дома и сидят так до поздней ночи. Молодые девушки смуглые и черноволосые, парни тоже темные и обычно невысокие. По вечерам гоняют на велосипедах.

Иду в замок... Уже совсем темно. Я поднимаюсь на вал и иду вдоль наружных стен. На небе выстреливают звезды, как пузырьки в газированной воде, отчетливее видно облако пыли Млечного Пути. Замок, весь город, опоясанный стенами, становится загадочным. Как иллюстрации к сказкам. Через мост, некогда разводной, захожу внутрь. Мне уже известны здесь все проходы и лазейки. Поднимаюсь по стене, а затем по каменной лестнице на башню. Глубоко вдыхаю свежий воздух, долетающий с Пиренеев. Ложусь на пол и смотрю на небо. Оно, правда, как свод. Я почти засыпаю.

Медленно возвращаюсь и, прежде чем вернуться в гостиницу, захожу в наше бистро выпить рома. За столом – несколько живописно грязных и живописно одетых испанских цыган. Пьют пиво и похрюкивают. А за другим столом местные жители играют в *belotte*⁶⁹ – играют руками, ногами, головами, всем телом и орут. Орут от возбуждения. Я пью ром и курю сигарету. Ночь опять жаркая и пройдет в полудреме. В одиннадцать бистро закрывается. Седая хозяйка плетется к ограждению сквера и нараспев зовет: «*Toto, Toto*,

⁶⁸ Марсель Паньоль (1895–1974) – французский драматург и кинорежиссер.

⁶⁹ Популярная карточная игра.

minou, minou...»⁷⁰ Но Тото, большой черный кошок, исчез. Гуляет в жаркой ночи. Утром он появится под дверью морозильника, вынюхивая запертое внутри мясо. А старушка скажет ему: «*Mechant Toto, la viande n'est pas pour toi – oh non!*»⁷¹ – и, озираясь, не видит ли другая старушка, ее сестра, отрежет ему кусок мяса и спрячет Тото с трофеем за прилавком. А потом закричит писклявым голосом: «*Du café pour monsieur!*»⁷² Я буду пить кофе...

По залитым солнцем улицам еду в мэрию. Я хочу поехать к морю, надо выяснить, как такая поездка выглядит с административной стороны. Сейчас нельзя покидать место пребывания без *sauf-conduit*⁷³, а срок действия моих документов подходит к концу.

В отделе мэрии по делам «*étrangers*»⁷⁴ обнаруживаю жан-дарма с рыбьими глазами. Как и все здесь, он говорит в это время суток голосом, напоминающим шведскую гимнастику в замедленном темпе. Во-первых, необходимо продлить документы, подав заявку в префектуру. Из префектуры меня отправляют в мэрию поставить печать о дате приезда и регистрации. Да, но префектура запретила ставить печати в документах беженцев. Если разрешит, то все в порядке. Я

⁷⁰ «Тото, Тото, кис, кис...» (фр.)

⁷¹ «Противный Тото, мясо не для тебя, нетушки!» (фр.)

⁷² «Ваш кофе, месье!» (фр.)

⁷³ Пропуска (фр.).

⁷⁴ «Иностранцев» (фр.).

возвращаюсь в префектуру. Да, они могут выдать разрешение мэрии, но я должен принести справку с фабрики. Еду на фабрику. Возвращаюсь со справкой. У меня забирают все бумаги и говорят, чтобы я пришел послезавтра. Послезавтра я предстаю совсем другим человеком. Я – в прекрасной папочке, и мадемуазель загадочно говорит мне: «*Votre cas a été examiné et Monsieur le Préfet signera cela à cinq heures*»⁷⁵. Приезжаю в пять и узнаю, что *mon cas*⁷⁶ только что было отправлено по почте в мэрию. Мэрия от префектуры находится в 500 метрах. Послезавтра *après-midi*⁷⁷ в мэрии мне ставят печать *arrivée*⁷⁸... Возвращаюсь в префектуру. *Demain après-midi*⁷⁹ я получу продление. Меня уже все знают. *Sauf-conduit*? Жандарм строго смотрит на меня. Какой повод? Хочу поехать на море, просто на море. Минута раздумья: напишите «*Семья в Нарбонне*», – звучит строгая команда. Я улыбаюсь. И он улыбается под усами. *Demain après-midi*.

Почему мы не вместе? Мы бы вместе смеялись, слоняясь по узким улочкам, залитым солнцем, и шли бы так же медленно и лениво, как мои бумаги из префектуры в мэрию: 500 метров за 24 часа. *Demain après-midi* снова без тебя...

⁷⁵ «Ваше дело рассмотрено, и месье префект подпишет его в пять часов» (*фр.*).

⁷⁶ Мое дело (*фр.*).

⁷⁷ После обеда (*фр.*).

⁷⁸ О прибытии (*фр.*).

⁷⁹ Завтра после обеда (*фр.*).

31.7.1940

Еду на реку. Выезжаю из города и по дороге среди виноградников добираюсь до «плавательного бассейна». Лежу на солнце. На самом деле у французов никогда не было иллюзий; у них нет того, что можно определить как «стремление к достижению невозможного». Исключением может быть только желание поймать рыбу на удочку в Сене в Париже. Хотя, по-видимому, и это не совсем невозможно. У них феноменально развитое и труднодоступное для нас ощущение жизни без идеалов и иллюзий. Энн Бридж⁸⁰ в «Пекинском пикнике» (то еще название) остроумно определила его, сказав, что лунная ночь и любовь для француза – это два природных явления, которые никогда не смешиваются. Лунная ночь, да, красива, но любовь в четырех стенах на удобной кровати тоже красива, *mais il ne faut pas confondre ces deux choses*⁸¹. Смешивать не стоит. Их разговоры или дискуссии – это пересыпание блестящих бусин и блессток, и они обычно не пытаются достичь результата и не хотят никого убеждать. Они просто раскраивают из всего большое количество образцов (каждый из которых сохраняет свою ценность) и раскладывают на столе перед глазами восхищенного их элегантностью и изяществом клиента. Они могут часами гово-

⁸⁰ Энн Бридж (1889–1974) – английская писательница.

⁸¹ Не стоит смешивать эти две вещи (*фр.*).

ритель о повседневной жизни, которая является для них единственным существенным вопросом. Сегодня они любят, завтра ненавидят, послезавтра снова восхитятся какой-то бездушкой или легкостью подхода к тому, что считается «ПРОБЛЕМОЙ». Удивительное умение материализовать дух, которое и есть, вероятно, их дух. Это волнует меня, не позволяет мне не думать, отделаться общими фразами, которые сейчас сами просятся на язык. Хотелось бы их презирать, а вроде как нельзя. Нельзя? А что, Франция – это религия?

В течение месяца, что я нахожусь здесь, в мире происходят колоссальные события. Франция изменила конституцию, распустила парламент и назначила авторитарное правительство Петена. У французов отняли то, к чему они были более всего привязаны, – парламентский беспорядок. Но это не имеет значения – они привяжутся к нему еще больше... А еще у них начинают отнимать другую вещь, которая была сутью их жизни: еду. Продовольственные карточки введены решительно, запрещена продажа свежего хлеба. Все ждут нападения Германии на Англию. Так бегут дни, проходят рассветы и закаты этой странной жизни.

Грюиссан, 3.8.1940

Я живу в красном домике на сваях. Медленно иду по пляжу. С берега дует теплый ветер, море совершенно спокойное. Синевы неба сливается с синевой воды, и все пронизано бес-

пощадным сиянием солнца. Я снимаю темные очки, и мне кажется, что я – фотоаппарат без фильтра. В этой яркости глаза теряют способность четко воспринимать цвет; а небо, море, песок, далекие горы превращаются в серую плоскую массу. Я иду далеко, оставляя позади красочное пятно домиков на сваях. Раскладываю одеяло на песчаной дюне и раздеваюсь догола. Бутылку с питьевой водой закапываю в мокрый песок и ложусь. Везде пусто. Проплывают часы разговора с солнцем. К моей бутылке подкрадывается маленький любопытный краб. Я кашляю, и краб мгновенно убегает прочь. Бежит боком, задом, передом, но все время по прямой. Он не умеет сворачивать. Можно использовать определение: прямолинейный, как краб. Он быстро проскальзывает в воду. По руке ползет песочная божья коровка. Она доползает до кончика пальца, крутится на месте, раскрывает панцирь и улетает. Ветер изменился и теперь дует с моря. Голубая неподвижная морская гладь начинает колебаться и искриться. Появляются миллионы светящихся иголочек. Стрелы, направленные прямо в солнце. Я медленно вхожу в воду и иду далеко, погрузившись по пояс. Мое одеяло на берегу стало очень маленьким, когда я начинаю плыть. Руки и ноги работают размеренно, как машина. Почему Байрон утверждал, что самая красивая женщина, которая ест и пьет что-то, кроме лангустов и шампанского, всегда выглядит вульгарной? Сноб, но плавал отлично. Интересно, каким стилем. Гекзаметром – смеюсь про себя. Все время видно

дно, хотя уже довольно глубоко. Пляж – желтая полоса, далеко, далеко. Я ныряю с открытыми глазами, но вода упрямо выталкивает меня на поверхность. Я возвращаюсь. Плываю свободным, ленивым кролем. Выхожу на берег приятно утомленный. Тишина, и только короткая волна плещется о берег. Любопытный краб снова крадется к моей бутылке...

Возвращаюсь в домик на сваях. Солнце уже перекаатилось на другую сторону неба и слепит глаза. На каменном ограждении канала стоит мой хозяин, владелец коттеджей, с длинным шестом в руке, заканчивающимся десятизубчатой пилой. Он одет в темно-синие парусиновые брюки, светло-голубую рубашку и подпоясан сине-серым хлопковым шарфом в мелкую сеточку. На фоне безграничного пляжа, в ослепительном сиянии солнца он выглядит как чернильное пятно на желтой скатерти. Время от времени приседает, прикрывает рукой глаза, вытирает пот концом шарфа и тщательно исследует дно канала. Внезапно наклоняется, мягким и еле заметным движением вонзает шест в воду и поднимает его. На кончике пики трепещется большая рыба. Улыбаясь мне, усатый месье Луи снимает рыбу и весело говорит: «Надо же что-нибудь съесть на обед...»

* * *

Утро. Над морем туман. На расстоянии десятка метров домики кажутся темным пятном. Душно, и я чувствую, что

солнце, растворенное в этом молоке, палит безжалостно. Царит атмосфера солнечной комнаты, в которой закрыли окна, зашторив их тонкой тюлевой занавеской. Я сажусь на велосипед и отправляюсь в город за хлебом, вином и водой. На пляже нет пресной воды. Еду по длинной дамбе между заливами и с обеих сторон распугиваю тысячи мелких рыбок. Они с плеском уплывают на более глубокие места, расталкивая друг друга и разрисовывая гладкую воду зигзагами и полосками. У тумана неуловимый запах, как у свежесрезанной шишки. Запах соснового леса пропитывает его и доходит даже сюда. Царит густая, плотная тишина.

Захожу в булочную. Булочник, как проснувшийся кот, – сонный, гибкий, потягивающийся. Сонным голосом говорит мне: «Туман – это жара...» Дает хлеб и исчезает в пропасти темной пекарни. Потом я захожу за открытками с видами местного пляжа. Меня приветствует колдунья и тем же, что и булочник, дремотным тоном выдыхает: «Туман – это жара...»

Когда я впервые вошел в этот магазин, никого не было. Внезапно в полутьме открылась дверь за прилавком, и появилось нечто такое, при виде чего у меня задрожали колени. Гигантская женщина с раскидистыми усами и кустистой бородой. По-видимому, у меня было глупое выражение типа «только не ешь меня», потому что она приветливо улыбнулась и ласково спросила: «*Vous désirez, mon pauvre?*»⁸² Сего-

⁸² «Чего желаете, бедняжка?» (фр.)

дня она разложила передо мной целую коробку цветных почтовых открыток, вытерла фартуком пот со лба и с восторгом стала перебирать их, восхищаясь каждой по очереди и объясняя, что на них изображено: «А слева, его уже не видно на открытке, кафе: *monsieur connaît ce café...*»⁸³ На каждой открытке самым важным было то, чего на ней не было видно, но *monsieur connaît ça sûrement...*⁸⁴ А я смотрел на ее усы и бороду, мечтая об открытке, на которой была бы только она. Я купил три открытки за франк. Она села, уставшая, и на прощание напомнила мне: «*Vous savez*»⁸⁵, туман – это жара...»

Завтра я опять пойду к ней, потому что у нее в магазине есть всё. Туман внезапно рассеялся, и солнце влилось в город, как поток стали в ковш. Пусто. Только кое-где, прижимаясь к затененным стенам домов, мягко передвигаются блестящие коты. Я купил литр белого вина, банку фасоли с мясом и набрал воды из фонтана. Подставляя бутылку под брызжущую из колонки струю, дразню плавающего в бассейне большого карпа. Он жадно вытягивает морду, думая, что я ему что-нибудь брошу, а я только показываю *marionnettes*⁸⁶ пальцами. Я всегда дразню его, потому что не люблю карпов. Этот похож на сонного банкира, а золотые чешуйки сверка-

⁸³ «Господин знает это кафе...» (фр.)

⁸⁴ Господин, конечно, знает, что... (фр.)

⁸⁵ «Вы знаете» (фр.).

⁸⁶ Человечков (фр.).

ют у него на животе, как брелочки на жилетке. Возвращаюсь в домик потный и пью свой кофе в *monsieur connaît ce café*⁸⁷, закусывая хлебом с джемом. Затем намазываю себя оливковым маслом с головы до ног.

С моря наплывают плотные ключья тумана. Через полчаса небо синее и глубокое. Солнце обезумело. Мне кажется, что я поджариваюсь, как яйцо на сковородке. На берегу у моих ног плещется волна, и это громкое облизывание берега усиливает царящую вокруг тишину. Воздух рябит над песком, и все вокруг видится как будто сквозь мятый целлофан. Мысли исчезают на время, и только в ушах, настойчиво и утомительно, стучит «Болеро» Равеля. В этой немелодичной мелодии есть то, что может точно передать настроение этих часов неподвижности; ритм бессилия, горячий и в то же время ледяной и жестокий; ритм чего-то холодного, совершенно неподвижного, но чудовищно нагреваемого снаружи.

Солнце вытравливает во мне все цвета, отбеливает изнутри и только кожу чернит. Я – кусок мяса. Вхожу в воду и становлюсь рыбой. Холод воды действует на меня, как движение руки по всей клавиатуре пианино. Я заполняюсь тонами и полутонами, я окрашиваюсь. Сны Лондона и Моэма о южных морях наяву. Ныряю. Вода зеленоватая. Я переворачиваюсь на спину и медленно поднимаюсь вверх, как бесшумный лифт. На каком-то этаже проплываю мимо розовой медузы, повисшей в изумруде. А потом опять солнце.

⁸⁷ Господин знает это кафе (*фр.*).

* * *

После обеда жара загустела. Я стащил с кровати матрац и положил его на веранде. Читал. Книгу я взял у бельгийцев, с которыми познакомился несколько дней назад. Их здесь не так много – тоже беженцы. Мой знакомый, д-р Г. – директор Музея африканского искусства в Намюре. Очень милая жена. Оба молодые и симпатичные. Смеются, когда я говорю о французах; серьезны, когда говорю о Польше, хотя сам я часто не верю в то, что говорю. Каждое поражение содержит в себе большую опасность: в поисках ошибок легко перейти границу, за которой подобный поиск становится обыкновенной низостью и оплевыванием самого себя. Мы оплевываем наш тупой героизм, бельгийцы – собственную трусость и короля. Они говорят, что мы были правы, мне кажется – что они. Польша, Бельгия, Нидерланды, Франция начинают думать. Но пока в этих размышлениях они не перейдут границу собственного достоинства, побеждены по-настоящему они не будут.

* * *

Через перила веранды я вижу целый ряд холмов. Несколько облаков неподвижно висят над ними. Внезапно сильный

порыв ветра сотрясает весь домик. Потом второй и третий. Идет ураган, горячий и внезапный. Отдельные порывы ветра, вначале напоминающие открытие и закрытие кислородного баллона, превратились в непрерывный свист. С северо-запада надвигалась стена горячего воздуха. Я посмотрел на пляж.

Сапфировая вода и золотой песок разделены желтоватой дымкой. Я побежал на берег. В нескольких сотнях метров от домиков разделся и побежал. Море у берега было абсолютно спокойным. Нанесенный с берега песок нависал над водой великолепными дюнами; ветер ревел и бил песком по ногам. Через короткие промежутки времени был слышен металлический звук, будто звон ударявшихся о воду миллиардов зернышек.

Я бежал по воде, то и дело вздымая целые фонтаны. Меня охватила дикая радость, и я, хоть и чувствуя усталость после километра пробежки, побежал дальше. Ветер свистел в ушах, медное солнце клонилось к закату, а на воде плясала моя огромная тень. На теряющейся вдали плоскости пляжа я увидел черное пятно. Подбежал ближе. Наполовину засыпанный песком торчал остов небольшого буксира. Вокруг пустота, вой ветра, свет цвета жженого сахара и вонзившаяся в небо наклоненная труба корабля. На обрывках стальных канатов ветер свистел еще пронзительнее, завывая в трубе и посыпая песком, еще глубже закапывал стальной труп. Было что-то странное во всем окружении, какая-то безжизненная пустота и мертвенность, над которой насмеялся ветер,

хохоча в каждой трещине, гремя кусками жести и танцуя на песчаных воронках.

Я уселся на носу и вдруг вспомнил «Остров сокровищ». Мне казалось, что из полузасыпанного люка кто-то смотрит на меня. А капитан Флинт, умирающий в Саванне, крикнул. «Дарби МакГроу, рому мне!..» Затем кусок жести оторвался от корабля и, прихрамывая, с грохотом покатился к морю. Я бежал, оглядываясь, не гонится ли кто за мной. Я прыгал по дюнам, набирал полные горсти песка и бросал его вверх. Он рассыпался облаком, улетая с ветром далеко в море.

Вечером небо затянуло тучами, и ночь стала абсолютно черной. Мой домик на сваях дрожал, трещал и скрипел, сотрясаемый порывами безумного вихря. После ужина я вышел. Я шел по твердому, как бетон, песку, утрамбованному на огромной плоскости зимними бурями. Я держался за телефонные столбы, чтобы не заблудиться в пустоте. Я ложился на ветер, как на мягкий диван. Несмотря на ночь и ветер, было душно. Я снял рубашку и пошел дальше. Горячий ветер, прилетающий из темной дали, однообразен и утомителен. Телефонные столбы превратились в симфонический оркестр. Иногда я останавливаюсь и слушаю. Похоже на увертюру к опере «Вильгельм Телль» Россини. Нет, это 12-й этюд Скрябина. Слушая его, я всегда думал о таком широком горячем ветре.

Блуждают воспоминания, сравнения, забытые образы.

Однажды я шел один в Горце⁸⁸, когда дул хальный ветер⁸⁹... Обида – глупейшее чувство, а грусть подавляет. Наверное, всю ночь не смогу заснуть. Буду смотреть на себя и время от времени говорить, что я хорошо сыграл сцену бессонницы, меланхолии и грусти. Забавно, когда одновременно чувствуешь, что жизнь внутри кипит и смеется. Завтра в пять утра я уезжаю отсюда, а еще не закончил книгу. До утра ее хватит. Начался дождь. Я потерял здесь чувство времени – не было ни дней, ни ночей, ни часов, ни времен года... Я сам для себя был временем.

Каркассон, 10.8.1940

Каркассон. Я спрятался в углу нашего бистро, попросил принести стакан рома, положил в него четыре кусочка сахара, и мне хорошо. Только в душе беспокойство по поводу Баси. Я получил от нее письмо из Парижа. И теперь думаю о ней, как Стась думал о Нель, когда оставил ее в баобабе и пошел искать помощь⁹⁰. Я знаю, что все будет хорошо. Сейчас теплый вечер, идет дождь, стало свежо. Ром имеет цвет (ко-

⁸⁸ Горце – горный район Западных Бескидов на юге Польши.

⁸⁹ Хальный – от *польск.* halny – верхний; южный фен, дующий в польских Татрах.

⁹⁰ Стась и Нель – герои романа «В джунглях Африки» (*польск.* W pustyni i w puszczy) Генрика Сенкевича, единственного произведения, написанного им для детей и подростков.

нечно) темного янтаря и пахнет. Ром... Я еще глубже вжимаюсь в угол дивана и закуриваю трубку. Меня охватывает чудесная, спокойная бесцельность. Тувим⁹¹ как-то написал, что у коров «потусторонний взгляд». Мои взгляды именно такие. Люди с их мгновенным поиском смысла невыносимы. Вся эта шайка-лейка из «общей комнаты»⁹² невыносима. Война? Война! Для С. она закончилась там, в сентябре. Он увяз в ней и говорит, что «если бы», то можно было бы некоторое время удержаться на двух фронтах. Этого еще не хватало... Война! Она уже два раза начиналась и два раза заканчивалась. Сейчас двадцатиминутный перерыв, и нужно его использовать так, как использовали перемену в школе. Нас уже дважды спрашивали и дважды ставили нам двойку. На следующих уроках нас опять спросят, и надо подготовиться. Смысл? Нет, жизнь, обычная жизнь – самое главное. Есть люди, которые во время движения поезда стоят у окна и смотрят назад. Так интереснее, меньше дует и в глаза ничего не попадет. А если они увидят что-нибудь интересное, то еще полчаса высовываются (несмотря на предупреждение: *e pericoloso sporgeri*⁹³) и не видят того, что пролетело, мелькнуло и исчезло. Остается человек на каком-то там километ-

⁹¹ Юлиан Тувим (1894–1953) – польский поэт и прозаик.

⁹² Отсылка к повести Збигнева Униловского (1909–1938) «Общая комната» (1932), в которой натуралистически описана жизнь варшавских студентов и начинающих литераторов в 1920–1930 годы.

⁹³ Высовываться опасно (*um.*).

ре, и привет, как говорит Тадзио. А мне всегда нравилось смотреть вперед. (*Madame, remettez, s'il vous plaît*⁹⁴.) Почему о роме нельзя сказать иначе, чем цвета «темного янтаря»? Это как «холодная сталь револьвера» – неизбежная, как «глубокое-не-нервное затягивание сигаретой». Как жаль, что Флобер умер, не успев закончить словарь кретинизмов. Лангуста – самка омара и так далее... Мысли бывают ужасные. Одна не дает мне покоя: в Эскориале, еще при Филиппе II, был подсвечник на 300 (дословно: триста) свечей. Как они его зажигали? Ведь пока зажигали последние, те, которые зажгли вначале, наверняка сгорали. Знаю: они непрерывно их зажигали. Конечно! Интеллект? Жизнь, а не интеллект. Возвращаюсь к морю. Большой перерыв. Скоро придет Тадзио, и мы будем играть в шахматы. Он мне, конечно, поставит мат. Дождь прекратился, а с улицы доносится смех девушек. Тот встал на пороге и задрал хвост. Он стоит задом ко мне и выглядит как Эйфелева башня со стороны Трокадеро. Две ноги соединены вместе в толстый ствол и сужаются выше и выше. Пришел Тадзио и спросил, почему я так задираю голову. «Я смотрю на Эйфелеву башню». Испанская прелесть, которая живет через три номера от меня, пришла выпить пиво. У нее немного грязные ноги и лодыжка обвязана черной бархоткой. Благодаря этому нога с бархоткой выглядит чище. Тадзио присел к ней и лапает ее за ногу с бархоткой. Потом встает и приносит коробку с шахматами. При этом поднима-

⁹⁴ Мадам, то же самое, пожалуйста (*фр.*).

ет ужасный шум, поймал в коробке большую блоху. Блохи здесь поистине замечательные. Раздавил ее белым слоном на столе. Мат!

12.8.1940

У меня есть всё. Я экипирован и возвращаюсь на море. В одной корзине на рынке я нашел несколько книг и беру их с собой. «Записки о Галльской войне» Цезаря, полное издание на латыни с пояснениями за 3 франка. «Манон Леско» за 1,50 фр. и «Превратности любви» Андре Моруа за 5 франков. Какая роскошь... Надо использовать последние отблески страны дешевой еды, напитков и книг. Равновесие – очарование Франции. Какое удовольствие от дешевой книги, если еда дорогая, или от дешевой еды, когда книга дорогая? Ко мне подошел старичок и начал говорить. Здесь, на юге, не признают во мне иностранца, в худшем случае принимают за бельгийца. Он завел разговор о политике и в конце, лукаво подмигивая, сказал: «Все вслух проклинаят англичан, а в душе желают им победы. Теперь они последняя надежда, как думаете? Они победят или проиграют?» Я сказал по-нормандски: «Немцы сильны, но и англичане знают, что делают, – *on va voir!*⁹⁵» Он понимающе улыбнулся: *Je comprends*⁹⁶.

⁹⁵ «Посмотрим!» (*фр.*)

⁹⁶ Я понимаю (*фр.*).

Я спросил его, где здесь *pissoir*⁹⁷, потому что не видел вокруг, как Тадзио называл, «стены плача». Это услышала уличная торговка и со всей готовностью радостно объяснила: *Ici, à gauche, mon pauvre!*⁹⁸ Она певуче произнесла конец фразы и указала направление. Трогательно. Сегодня они мне очень нравятся.

* * *

Когда я думаю о тебе, а думаю я постоянно, мне кажется, что я – бездумный, своенравный мальчик, который использует все плюсы ситуации и забавляется, безумствует; забавляется даже тоской по тебе, находя в ней смысл одиночества под солнцем. Мне стыдно, я хотел бы извиниться перед тобой. Я хотел бы извиниться перед каждым, кто сейчас страдает. «Знаешь, Нель»⁹⁹... Не сердись, Нель...

13.8.1940

В спину дул сильный ветер, и я ехал быстро. Мое сердце стучало, хм, просто от радости. Сияло солнце, пустое жнивье. Я добрался до Нарбонна около семи. В городе ца-

⁹⁷ Писсуар (*фр.*).

⁹⁸ Туда, налево, бедолага! (*фр.*)

⁹⁹ Этой фразой начинается роман «В джунглях Африки» Г. Сенкевича.

рило настроение летнего вечера. Мужчины в темно-синем сидели в бистро, потягивая вечерний аперитив. Вообще-то, они пьют здесь весь день. Было тихо, спокойно, благостно. Старый Нарбонн готовился ко сну. Я тоже зашел в бистро. Ром? – Нет, лимонад. Некоторые граждане понимающе подмигнули мне из-за стаканов желтого пастиса с ледяным айсбергом внутри и спросили: *Tour de balade, hein? – Wuj, on se promène*¹⁰⁰, – ответил я и принялся за лимонад, набитый ледяной крошкой. Мне опять было стыдно... Летний вечер, лимонад, через полчаса я буду у моря, куплю хлеба, съем баночку сардин, помидоры, сыр, напьюсь воды с лимонным соком и закушу все это шоколадом; при лунном свете прыгну в воду, а потом усну, качаясь со всем домиком, танцующим польку-ветер на своих шести сваях. У меня даже помутнело в глазах, и пришлось выпить второй стакан холодного лимонада. Затем я сел на велосипед и в сумерках был у фонтана.

Я купил хлеба, наполнил бутылку водой (старый карп уже спал) и по дамбе поехал к морю. М. Луи встретил меня бокалом гренаша, пожаловался на пустоту (действительно, неудачный сезон в этом году), дал ключ от домика и пожелал спокойной ночи и погоды. Солнце уже село, домик качался, а я ел сардины, помидоры и сыр. И правда, плохой сезон в этом году; но это, вероятно, потому так сложилось, что проиграли войну... Что? Что? Войну?

Вышла большая луна. Соленые кристаллы, смешанные с

¹⁰⁰ Велопрогулка, так? – Да, катаюсь (*фр.*).

песком, сверкали белым светом. Я прыгнул в канал и купался в живом серебре. Я играл с водой, вернулся в домик и вытерся на веранде; горячий ветер сушил меня. Лег в кровать и начал читать «Манон Леско», пытаюсь насвистеть арию кавалера де Грие. Я все время думал о тебе; помнишь, однажды вечером мы с тобой сидели на моем диване и слушали всю «Манон». Ты рассказывала мне либретто. За окнами был снег и мороз, от печи шло ласковое тепло, а на моем столике в шкатулке лежали сигареты. Я грыз орехи с изюмом и попросил тебя дать мне сигарету. Ты принесла всю шкатулку. Положила голову мне на плечо и сказала, как обычно: «Только не дуй мне в нос». В ящике стола оставалось еще несколько объявлений о нашей свадьбе. Я перестал читать и стал смотреть на крышу. Из-за ветра она подпрыгивала, как крышка на чайнике с кипящей водой. Я подумал, что если бы ее внезапно сорвало и она полетела, то было бы как с нашей. Нашу крышу давно сорвало...

14.8.1940

Меня разбудило солнце. Оно пробилось сквозь щели в досках и раскроило мою комнатку на десяток частей. Я встал, нарубил дров и сварил кофе. Затем распаковал и расставил свои сокровища. Меня радует каждая глупость, каждая кастрюлька, коробка, ножик. Я аккуратно все раскладываю, а при виде алюминиевой тарелочки с лимоном, помидо-

рами и яйцами на фоне клетчатой салфетки пришел в полный восторг. Я положил на нее нож; все наполнилось жизнью и смыслом. А когда поставил рядом маленькую солонку с зеленым носиком и положил кусок хлеба, то обнаружил, что это вообще невероятно. Мне захотелось рисовать. Причем как Сезанн.

Потом я пошел очень далеко, читал, плавал и дремал. Цезарь ужасен. Теперь я действительно понимаю, почему старый Богуцкий¹⁰¹ не говорил иначе, как «эти варвары римляне». При этом Цезарь невероятно все приукрашивает. Идеи, как у Диснея. Римляне копьями пронзали сразу несколько гельветских щитов подряд, ударом одного копья парализовывали левые руки нескольких воинов. Конечно, те бросали щиты, и им приходилось сражаться *nudo corpore*¹⁰². Я читаю это с ненавистью. Его латынь так же отвратительна, как и немецкий «Майн Кампф» Гитлера. Эти книги в чем-то родственны. И у того и у другого главный приоритет – завоевания. У обоих то же лицемерие, те же ложь и чванство. Германский вождь Ариовист встречается с Цезарем и говорит ему, что галлы объявили ему войну, а не он им. Цезарь говорит то же самое. А между ними – измученный мир, который ищет спасения то у одного, то у другого. Однако страте-

¹⁰¹ Профессор Михал Богуцкий (1860–1935) – классический филолог, преподаватель греческого и латинского языков в краковской гимназии Святой Анны, переводчик диалогов Лукиана.

¹⁰² Нагишом (лат.).

гия у Цезаря удивительная: отличная разведка, везде пятая колонна, всегда сильная позиция и великолепная пропаганда. *Vulgus militum*¹⁰³ всегда должным образом оценивают *quia arrogantia in colloquio Ariovistus*¹⁰⁴ и горят желанием сражаться. Уже Цезарь использует по отношению к германцам слово *arrogantia*. Отсюда следует, что это не только прусская, но и общенациональная черта. Пруссаки позаимствовали ее у рейнских немцев. Необычайно нравится мне эта *arrogantia*. Я выучил всю фразу наизусть.

Дома я приготовил отличный обед. Рыба здесь почти бесплатная. Жарю ее на гриле. Смазанная оливковым маслом, она пахнет и медленно золотится, как тронутое политурой и полированное дерево. Завтра наловлю мидий. А у моей колдуньи еще есть английский трубочный табак «St. Bruno Flake». Читал до вечера на веранде, растянувшись на матрасе. Прими это как покаяние в тяжких грехах...

15.8.1940

Я погасил свечу и смотрел на большую луну. Вечер был жаркий и тихий, только с моря доносился монотонный шум. Я запер домик и пошел на канал. Бесшумные лодки плыли на ночную рыбалку. Я быстро снял свитер, шорты и эспадрильи. Подплывала лодка. Я прыгнул в воду и схватился за борт.

¹⁰³ Военные люди (*лат.*).

¹⁰⁴ Какое высокомерие в речах Ариовиста (*лат.*).

Рыбаки начали шутить и смеяться. Плывя в пене и скользя за лодкой, я отшучивался как мог. Смеясь, один рыбак наклонился и протянул мне пачку сигарет, желая угостить. Обожаю их остроумие и шутки. Мы вышли из канала в море. Они протащили меня очень далеко, остановились и стали бросать сети. *Bonne nuit!*¹⁰⁵ Я отпустил лодку и поплыл к берегу. Через некоторое время я остался в море один, далеко от пляжа. Вода была абсолютно серебряная, со стороны Пиренеев мигал маяк. Тишина. Есть что-то настолько странное в подобном уединении в море, ночью, что я, пожалуй, никогда этого не забуду. Я снял трусы и обернул их вокруг шеи. Легче всего плыть голым, а до берега не меньше часа. Я плыл размеренно и неторопливо, ни о чем не думая. Слушал только ритмичное биение сердца, когда тело, толкаемое вперед, скользит неподвижно и бесшумно; я ощущал свои легкие, сопряженные с плечами, и наслаждался их работой, как конструктор – работой двигателя на испытательном стенде. Слизывал с губ соленую воду, и мне хотелось чего-то сладкого. Затем я испугался, что не доплыву и сразу стал терять ритм и зря тратить силы. Быстро исправил положение и поплыл дальше. Вышел на берег уставший и замерзший. Некоторое время лежал на песке, какдохлая рыба.

¹⁰⁵ Спокойной ночи! (*фр.*)

17.8.1940

Нет, я не в состоянии понять «Манон Леско». Это, может, и очень изысканно, но не изменит того факта, что де Грие, в принципе, альфонс, а Манон – б... Я их прекрасно представляю в вагоне метро, в часы пик, прижатых к стене и облизывающих друг друга. На «Площади Республики» она даст ему 100 франков, он ее чмокнет и выйдет, а она поедет к Бастилии и пойдет спать с другим. Он, может, из «хорошей семьи», а ее, если поймают и увидят, что она «незарегистрирована», посадят в «Ла Рокетт»¹⁰⁶. Только сегодня ее не отправят в Америку, а дадут *une carte*¹⁰⁷. Вся разница. С этой точки зрения книга, безусловно, бессмертна.

А Цезарь оказался увлекательным. Сначала шло тяжело, но через двадцать с небольшим глав я вник в его латынь, напоминающую таблицу умножения. Сейчас ловлю себя на том, что иногда начинаю непроизвольно думать на латыни. Например, я мог бы сказать какому-нибудь немцу, что *Germani multum ab nostra consuetudine differunt: latrocinia nullam habent infamiam, quae extra fines cujusque civitatis fiunt*¹⁰⁸ и т. д., то есть грабежи других государств не считаются-

¹⁰⁶ «Ла Рокетт» – женская тюрьма.

¹⁰⁷ Удостоверение, подтверждающее запись в реестре проституток.

¹⁰⁸ «Нравы германцев во многом отличаются от галльских нравов: разбои вне пределов собственной страны у них не считаются позорными, и они даже хвалят

ся злом и служат, по их словам, закалкой для молодых людей, которая уменьшает лень. Кроме того, Цезарь утверждает, что наиболее предпочтительной формой государственного строя является у них диктатура. И он, вероятно, у них научился. Галлов он оценивает трезво: легко загораются, легко сдаются. Собственно, Цезарь относится к галлам так, как в наши дни хочется относиться к французам: были времена, когда галлы, более толковые, чем немцы, объявляли им войну и основывали колонии за Рейном. (*Ac fuit antea tempus, quum Germanos Galli virtute superarent...*¹⁰⁹). Это *Ac fuit antea tempus* хочется повторять сейчас на каждом шагу. В сегодняшней ситуации прошедшее время, которым пользуется Цезарь, содержит в себе некий трагизм, что-то, что не дает мне покоя. Фигура Верцингеторикса¹¹⁰ прекрасна и трагична. Повезет ли де Голлю больше? Доктор Г. оценивает его очень позитивно. Он утверждает, что только де Голль способен спасти доброе имя Франции. Но о нем очень мало известно – просто слухи. В своих размышлениях о Франции я пришел к такому выводу: Франция была своего рода догмой, причем настолько сильной, что полное освобождение от нее

их как лучшее средство для упражнения молодежи и для устранения праздности» (*лат.*; Гай Юлий Цезарь. «Записки о Галльской войне». Книга VI, 21 и 23).

¹⁰⁹ «Было некогда время, когда галлы превосходили храбростью германцев...» (*лат.*; «Записки о Галльской войне». Книга VI, 24).

¹¹⁰ Верцингеториг, или Верцингеторикс (около 72 до н. э. – 46 до н. э.) – вождь кельтского племени арвернов в Центральной Галлии, противостоявший Цезарю в Галльской войне.

почти невозможно. Францию невозможно воспринимать так же объективно, как Англию, Соединенные Штаты и т. д. Она является исключением, большим исключением.

18.8.1940

Я встретил на пляже двух пожилых барышень. Их отец был капитаном корабля, и они вместе с матерью жили в Марселе. Когда отец умер, они вернулись сюда, в свой дом, и живут на пособие. Они одолжили мне «Историю Грюиссана» и несколько дамских романов. В книгах стоят даты и место, где они были прочитаны: «28.11.1924 – Сингапур», «25.1.1926 – Экватор», и красноречивая приписка *quelle chaleur*¹¹¹. Каждый день, как по часам, они приходят на пляж в пять, купаются в семь, занимаются прекрасно синхронизированной шведской гимнастикой, одеваются с выверенной до секунды скоростью и в восемь часов возвращаются. Когда я вижу два белых платья на длинной дамбе, у меня создается впечатление, что я смотрю на стрелку часов, приближающуюся к пяти или к восьми. Они довольно чопорны, молчаливы и провинциально любезны. Как они возмутились, что я предпочитаю Бальзака Жорж Санд. Ужасно! Впервые я услышал о Ж. Санд, когда мать читала мне письма Словацкого¹¹². Мне было тогда 14 лет, и я возненавидел эту

¹¹¹ Какая жара (*фр.*).

¹¹² Юлиуш Словацкий (1809–1849) – польский поэт и драматург эпохи Роман-

бабу еще ребенком. Собственно, сам не знаю почему. Словацкий пишет, что встретил ее на Женевском озере, на пароме, в брюках, и язвительно выразился о ней. Этого было достаточно. Защищая Бальзака, я сегодня отреагировал резко, сказав с упоением, что Ж. Санд была попросту *une loutre intellectuelle insupportable*¹¹³, дословно переводя на французский язык наше выражение «интеллектуальная выдра».

Барышни Б. застыли как одна, покраснели и одновременно спросили тоном, напоминающим леденец: *Plaît-il?*¹¹⁴ Это *plaît-il* совершенно сразило меня, и, желая, чтобы меня лучше поняли, я пошел еще дальше: *Je voulais dire une grue intellectuelle*¹¹⁵.

Если бы я внезапно снял штаны, эффект, вероятно, был бы неизмеримо меньший. Они только пробормотали *mais Monsieur...*¹¹⁶, посмотрели друг на друга и холодно сменили тему разговора. Видимо, посчитали, что на такой дремучий примитивизм не стоит обижаться.

Вечером я спорил с д-ром Г. по поводу «Превратностей любви» Моруа. В конце он сказал, что я слишком хорошо плаваю, чтобы понять это. Это потому, что, на мой взгляд, таким людям, как в «Превратностях», не стоит доверять лю-

тизма.

¹¹³ Несносная интеллектуальная выдра (*фр.*).

¹¹⁴ Что? (*фр.*)

¹¹⁵ Я хотел сказать, интеллектуальная шлюха (*фр.*).

¹¹⁶ Но, месье... (*фр.*)

бовь. Что они сделали? Люди обычно любят хорошую еду, любят прилично питаться, но имеют странную склонность кормить свои души всякими заменителями или отбросами. Нет, нет, эта книга с температурой оранжереи, душная и бессмысленная. Обычно так происходит, когда люди слишком хорошо живут. Наверное, я не прав. В истории Грюиссана я прочитал, что этот ветер был здесь всегда и уже римляне называли его «*circius*»¹¹⁷. Плиний Младший писал, что «это самый известный ветер в провинции Нарбонн, и все остальные уступают ему в силе и внезапности». Теперь этот ветер постоянно гасит мою свечу.

20.8.1940

Утром я получил открытку от Тадзио. Он пишет, что больше не может выносить «святую интеллигенцию» в Каркассоне, и спрашивает, нельзя ли ему приехать ко мне. «Робинзон Крузо тоже не всегда был один, у него был Пятница. Может, и я сойду за Пятницу?» Спрашивает, что привезти и можно ли ему приехать с Сеньоритой. Сеньорита – испанка с бархаткой на лодыжке. Похоже, Тадзио собирается ее похитить. Я сразу же написал, что приму его в качестве Пятницы, чтобы он привез джем, сгущенное молоко и сахар, но Сеньориту пусть не привозит. Отвез открытку в Нарбонн, чтобы быст-

¹¹⁷ Порывистый, сильный западный или северо-западный ветер на юге Франции.

рее дошла.

Я в течение часа боролся с ветром. Бродил по Нарбонну. Южные города следует осматривать только между заходом солнца и ночью. Все богатство перенасыщенного солнцем дня к вечеру оседает, умолкает, застывает и рассеивается в шуме и гомоне необузданного света. Я блуждаю по узким улочкам, настолько узким, что временами между ними нужно протискиваться. Сбоку постоянно прилипшие к стенам величественные кошки, а у дверей домов сидят и разговаривают люди. Пахнет луком, долетает запах чеснока, плывущего на легком облачке жареного масла, и к этому примешивается едкий запах не всегда заметной сточной канавы. Если любишь сказки, здесь есть фон ко всем сказкам, вместе взятым. Эти улочки и дома, закоулки и дворы можно оживить любимыми, самыми невероятными персонажами. Кто знает, не стали бы они реальными в этих декорациях? На одной ужасной улице я обнаружил место собраний масонов. На грязной двери сверкала золотом эмблема ложи. Кто здесь в ней состоит?

Возвращаюсь в сумерках, проезжая через виноградники. Виноград уже созревает. Я остановился и сорвал тяжелую гроздь черных ягод, покрытых прекрасным сизым пушком. Жадно впился зубами в кисть, мне было жарко, во рту пересохло. Небо уже потемнело и только над горами, где садилось солнце, было еще голубоватым. Дул ветер. Сидя на теплом камне, я смотрел в небо, меня гладил горячий ветер,

по бороде стекал фиолетовый сок сорванного с куста винограда. Я опять ни о чем не думал – ел виноград. Только чувствовал, как интенсивность жизни до краев наполнила меня. Чувствовал свою молодость, эти несколько мгновений я ощущал ее настолько явственно, что кровь у меня должна была брызнуть изо всех пор и смешаться с соком винограда. Я поймал жизнь – на мгновение, но отчетливо. Это было прекрасно.

Ночью ветер утих.

23.8.1940

Тадзио натворил дел. Сегодня утром я колол дрова, чтобы приготовить обед, когда внезапно на велосипеде влетел запыхавшийся Тадзио, бледный, в полусознательном состоянии, с криком: «Сеньорита убилась, Сеньорита убилась». Оказывается, он все-таки взял ее с собой на море, и, когда они спускались с горного перевала под Грюиссаном, Сеньорита не притормозила и на кошмарном повороте вылетела на камни. «Пан Б., это центробежная сила, понимаете? Она лежит окровавленная. Когда я прикоснулся к ней, она уже остывала», – скулит Тадзио. Мчимся на место происшествия. Велосипед лежит, лужа крови, Сеньорита исчезла. Ее отвезли в больницу в Нарбонне. Едем в Нарбонн. По дороге встречаем машину врача из Грюиссана. Говорит, что он до-

ставил *la jeune fille*¹¹⁸ (знал бы он!), состояние неопасное, на этом повороте постоянно кто-то разбивается. Едем в больницу. Доктор видит, что мы поляки (скорее слышит), и, улыбаясь, представляется: «Троцкий, но не Лев!» Отвел меня к Сеньорите. Лежит без сознания, половина лица – кровавая маска. Троцкий сказал, что ей нужно «полежать», а после перевязки она может вернуться в Каркассон. Пусть полежит. Тадзио в беспокойстве ходил по коридору. Мы пошли выпить рому. Выпили и перешли с ним на «ты». Он быстро успокоился и начал нести чушь о провидении и что «видимо, это должно было случиться». Я сказал ему, что до него уже был один такой и звали его Жак-фаталист¹¹⁹. Тадзио перенял у меня фразу «давай порассуждаем на эту тему». Очень она ему нравится и ужасно смешит. Он хихикнул и сказал мне: «Слушай, давай порассуждаем на эту тему». – «На тему Дидро?» – спросил я. «Нет, на тему Сеньориты. Жаль – хорошая труженица...» – «А ты будешь платить за перевязки – так тебе и надо!»»

25.8.1940

Тадеуш уехал с Сеньоритой. Должен вернуться сегодня вечером. Я привязался к нему. Я – интеллигент, он – простой, малообразованный парень. Мы одного возраста. Еще

¹¹⁸ Юную девушку (*фр.*).

¹¹⁹ «Жак-фаталист и его хозяин» (1796) – роман Дени Дидро.

раз убеждаюсь, какой идиотизм – так называемое «обращение лицом к народу», «умелый подход» к «простому человеку». Достаточно одного из пунктов этого интеллигентского катехизиса, чтобы вообще ничего не вышло. Нет, наверное, более смешной фигуры, чем такой интеллигент, стремящийся «быть ближе к народу». Достаточно только постараться сознательно говорить «простым языком», чтобы этот язык стал малопонятным. Здесь нет «системы». Демагогия действует на массы, но с отдельным человеком на демагогии далеко не уедешь. И только настоящий контакт, реальное общение возникает не на митингах с помощью лозунгов, это тысячи и миллионы личных контактов в повседневной жизни и общении «простых» и интеллигентов. И наоборот. В целом это очень мало и очень много. Прежде всего нужно прекратить разделять людей на «простых», «полуинтеллигентных» и так далее. Есть человек. Признать этот факт следовало бы и тем и другим. К сожалению, это самое сложное. Чаще всего интеллигент не считает простого совсем «человеком», а простой видит в интеллигенте много чего, но мало «человека». Взаимное презрение, врожденное, усугубленное, с одной стороны, завистью, с другой – страхом перед «массой», не помогает перешагнуть этот маленький порожок. Особенно у нас. Наша интеллигенция была чем-то вроде польского банка или больничной кассы. Нет, хуже, это были «Сим» и «Лебедь»¹²⁰. Снобские кафе для способных, но

¹²⁰ В варшавских кафе «Sim» («Sztuka i moda» – «Искусство и мода») и

и для конченных хлыщей. Нет, я не могу спокойно писать. Еще не могу. Я был бы, наверное, несправедлив. Но я знаю одно и признаю открыто: когда эти «сливки» приплывали в прошлом году осенью в Париж, мне их не было жаль. Польша потеряла много ценных людей, но и чудесным образом одним махом освободилась от быдла; от этих дам, господ и военных с недоразвитыми мозгами «gebirgstrottl»¹²¹. Этим людям ничто не было в состоянии изменить и, наверное, не изменит. Их можно только в банки закатывать. Нет, я должен остановиться. Эксперимент только начался, и неясно, какие будут результаты. А мне при слове «интеллигенция» кровь ударяет в голову, и я не могу быть справедливым. Я сразу рискую впасть в сентиментальное оправдывание «народа», бурное СНСМ-овское¹²² восхищение моей однокурсницы Халины классом, который когда-то «ударит исподтишка», как пророчил ее приятель на улице Красного Креста. Помню, это «исподтишка» слегка вывело меня из себя.

В чем разница между мной и Тадзио? Разница в ощущении. Потому что сегодня мы в одинаковой материальной ситуации. Для меня поглаживание разлегшейся на солнце кошки, ее светло-зеленый взгляд из-под нескольких ресниц, по краям сияющих всеми цветами радуги, – событие. Для Тад-

«Swan» («Лебедь») собиралась богема.

¹²¹ «Горных придурков» (нем.).

¹²² Союз независимой социалистической молодежи – политическая молодежная организация в Польше (1922–1948).

зио – это не событие. А может, просто пока еще не событие. Его сын, выросший в сравнительном достатке, образованный, может превзойти меня в ощущениях. А может, и нет. Это случайные вещи, но я верю в теорию вероятности. Она растет по мере увеличения числа таких Тадзио, живущих в человеческих условиях, и Тадзио, сталкивающихся не со слоем, который считает, что при каждом контакте с ним нужно «принизить себя», а со слоем общества, который естественно себя ведет. Проблема формы. С помощью формы и только формы французы сумели внушить всему миру, что у них есть демократия. Между тем социальная диффузия во Франции значительно меньше, чем у нас. Демократия существует для видимости. Подавание руки, естественность, *Monsieur, Merci и Pardon*.

26.8.1940

Тадзио вернулся с тревожными слухами: французы собираются отправлять поляков в лагерь. Закончил он своим излюбленным: «Праздник моря, и привет». Я заволновался. Здесь я встретил молодого испанца, который работает на производстве соли, и он рассказывал мне, что французы могут быть жестокими в таких случаях, бездумно жестокими. Его долгое время держали в лагере Аржеле. Огражденное проволокой поле, люди загнаны, как овцы в загон. В холодные ночи жандармы запрещали им разводить огонь. Заклю-

ченные рыли в земле дыры и тайно жгли огонь, чтобы хоть как-то согреться. Пойманных на горячем (буквально) за нарушение запрета помещали в узкие клетки из колючей проволоки. В такой клетке осужденный не мог ни лечь, ни сесть поудобнее. Торчал там под дождем, на ветру и холоде. Французы для себя строили бараки, а молодых и сильных заключенных гнали в деревню и в городки, выстраивали в ряд на площади, и крестьяне выбирали их себе на работу. Они стояли, а французские «*paysans*»¹²³ щупали их ноги, руки, цокали или кривились – в зависимости от «товара». Обычный рынок рабов, как во времена Цезаря. Молодой испанец, студент из Барселоны, рассказывал мне это со спокойной горечью, и непохоже было, что он врет. Он иронично улыбался и сказал не без некоторого удовольствия, что «теперь они увидят, каково это, когда немцы начнут и их сажать за проволоку».

После долгого разговора с Тадзио мы решили вернуться в Париж, как только фабрика выплатит нам все «задолженности». Французы уже начали массово возвращаться. Съездим посмотрим, «как там дела», а в случае чего «возьмем твою жену в рюкзак и махнем обратно в эту так называемую свободную Францию», – закончил диспут Тадзио. Затем он начал сворачивать правильной формы «спирохету», то есть сигарету. Ему нравится это научное название.

Сеньорите он положил в чулочек 300 франков и отправил домой в Каркассон. Пусть лечится. Мы будем на море до тех

¹²³ «Крестьяне» (*фр.*).

пор, пока это возможно. Роберт должен написать нам, когда нужно вернуться. Тадзио только что принялся за Цезаря и кропотливо читает по слогам. Сказал, что если у него легко пойдет, «я закажу за тебя мессу с хором». Тадзио и правда похож на щегла.

27.8.1940

Вообще-то, человек всегда должен быть как белый лист бумаги, на котором есть место для всего. А на самом деле люди очень быстро становятся тетрадкой в клеточку или в линейку или вообще бухгалтерской книгой. Пишут о себе, только чтобы «лучше» выглядеть.

Часто мне кажется, что так называемый здравый смысл является наиболее обманчивым уголком человеческой души. Рассадник бактерий самого пагубного лицемерия. Очень часто.

Вера во что-то – не что иное, как подпорка, поддерживающая хромыe мысли. Расставание с тем, кто нравится или кого любишь, часто потому так печально и сложно, что это расставание с самим собой.

Почему в качестве примера культуры народа всегда (как правило) приводится та культура, в период существования которой этот народ распался? Неправда, что культуры распадаются под воздействием ударов извне. Они сначала сами распадаются. Удар извне – всего лишь удар варварского

«*sica*»¹²⁴.

Культура и цивилизация нашего времени напоминают мне сумасшедшего, который изрезал на кусочки кучу старых газет, написал «миллион долларов» на каждом из них, сложил все в кошелек и сказал с большой уверенностью в себе: я богат.

* * *

Я сидел на песке, ел маринованные оливки с хлебом. Обжирался нечеловечески. Оливки приведут меня к банкротству. Тадзио вертелся около меня и собирал ракушки «для Яночки¹²⁵». Некоторые просто прекрасны. Подбегал ко мне и показывал самые красивые из них. Внезапно рядом с ним возник маленький мальчик и стал с любопытством заглядывать в его банку. Тадзио с гордостью показывает ему все ракушки, высыпает на песок, говорит «жоли»¹²⁶, но малыша они не радуют. Наконец мальчик махнул рукой с презрением, посмотрел на Тадзио как на ребенка и сказал сухо: *C'est pas bon pour manger*¹²⁷. После чего, смеясь, начал кружить-

¹²⁴ Сика (*лат.*) – короткий меч или кинжал, который использовали древние фракийцы и даки, а также гладиаторы в Древнем Риме. Изготавливался из меди, бронзы и, позднее, из железа.

¹²⁵ Янина (Яночка) – жена Тадзио в Варшаве.

¹²⁶ Транслитерация *фр.* joli – красивые.

¹²⁷ «Это несъедобно» (*фр.*).

ся на пятке. Тадеуш понял, побледнел, потом вдруг покраснел, он искал французские слова, бормотал и в конце концов разразился по-польски: «Ах ты, улиткожор, мелкий ви-нохлеб, недоделанная малолетка французская – «па бон пур манже» – аппендикс; если нельзя жрать, то это уже для тебя ничто, шантрапа ты, кыш отсюда, раз не понимаешь, что красиво, не то я тебя, голодранец, не то я...» Мальчишка в ужасе сбежал, я давился от смеха, а разволновавшийся Тадзио посмотрел на меня и закончил свое «*попурри*»: «Ну скажи, разве эти оборванцы могут хоть кем-нибудь стать, если они с детства только о жратве думают? Ну скажи...»

Пнул банку в море, лег рядом со мной и уставился вдаль. Я не знал, что ему сказать. Он говорил вполголоса, как бы самому себе: «Если бы я думал только о беконе и о том, как улечься в тепленькую постель к жене, не был бы я здесь сегодня... Румыны, цыгане и французы – все одинаковые».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.